

1.2 Тракта́т «О народном красноречии»: язык и языки

Именно в VE Данте переходит к проблемам эволюции языка, создания литературного языка (на основе народного) и рассматривает в этой связи целый ряд собственно лингвистических проблем⁴⁵. Тракта́т этот должен был по замыслу Данте состоять по крайней мере из четырех книг, но известный нам текст обрывается на XIV главе второй книги. Поскольку, как утверждает Данте, ему не известно, чтобы кто-нибудь до него излагал учение о народном красноречии (*de vulgari eloquentia doctrina*), а такая необходимость назрела, и желающие овладеть этим красноречием бродят «точно слепцы по улицам, постоянно принимая то, что спереди, за то, что сзади» (I.I.1), он предполагал дать всестороннее и исчерпывающее изложение предмета. В намерения автора, пользуясь современной терминологией, входило, во-первых, описание парадигмы форм существования языка в данном лингвистическом социуме, от высшей формы общенародного языка, которую мы называем литературным языком, до идиолекта. Начав с высшей формы речи (*vulgare illustre*), как говорит Данте, «мы постараемся осветить и низшие народные речи, постепенно нисходя к той, которая присуща только одной семье» (I.XIX.4). Второй круг вопросов был связан с теорией стиля и с проблемами адаптации античной триады высокого, среднего и низкого стилей и их соотносительности с трагическим, комическим и элегическим слогом. И в-третьих, Данте предполагал описать репертуар поэтических форм тоже как иерархическую упорядоченность, как постепенное нисхождение от высшей формы (канцоны) к формам более низким (балладе, сонету, элегии) и осветить вопросы поэтической техники. Предполагалось также установить соответствие между членами трех парадигматических рядов (языка, стиля, стихотворной формы), преобразовав их в линейную зависимость: высшая форма речи — трагический слог — канцона. Вероятный план трактата, реконструируемый на основании имеющегося текста⁴⁶, свидетельствует о том, что Данте опирался на разнообразный материал, в котором он прекрасно ориентировался: на знание фактического

45 Сведения об основных изданиях трактата *De vulgari eloquentia*, переводах и рукописной традиции см. в Приложении I. Основные работы по-русски: [Евлахов 1910], [Будагов 1960; 1967; 1984, с. 164-179], [Эстулина 1967; 1967а], [Шишмарев 1972, с. 79-90], см. также библиографический указатель «Данте Алигьери» (1762-1972) [Данченко 1973].

46 П. Райна предполагает, что могла быть задумана и пятая книга. См. [Rajna 1906, p. 214-215].

состояния итальянского языка, на античную риторику и средневековую поэтику, на литературу на новых романских языках.

Главной темой первой книги трактата является проблема многообразия языков, которая рассматривается в диахронном и синхронном плане и завершается теорией *vulgare illustre* как способом преодоления этого многообразия (на уровне, разумеется, диалектов, а не языков). Во второй книге речь идет о том, кого считать достойным пользоваться высшей формой «вульгарной» речи (почему, каким образом, где, когда и к кому обращаясь). Композиционная структура первой книги VE такова: введение ко всему трактату (I.I), природа, происхождение и история человеческого языка (I.II.-I.X.2), теория *vulgare illustre* (гл. XI-XV — лингвистическая ситуация Италии к началу Треченто; гл. XVI-XVIII — определение искомого языка), заключение (I.XIX) [Liver 1992].

2.1. Данте начинает свое рассуждение с определения понятий. Исходя из лингвистического опыта индивида в условиях средневекового двуязычия, он устанавливает существование двух лингвистических систем по способу их усвоения. Народной речью (*vulgaris locutio*) Данте называет ту, которой научаются «подражая кормилице», без каких-либо правил (*sine omne regula* — I.I.2). Эта лингвистическая система выступает как естественная и первичная по отношению к другой, которую, следуя римской традиции, Данте называет «грамматной» (*grammatica locutio*), подразумевая под этим не обязательно латинский язык, но всякую речь, овладение которой достигается в процессе специального обучения, т. е. предполагает наличие эксплицитно сформулированных правил. Грамматную речь или грамматику Данте квалифицирует как вторичную лингвистическую систему (*secundaria*), отмечая при этом, что она имеется не у всех народов и что навыка в ней достигают немногие, потому что «мы ее выравниваем и научаемся ей (*regulamur et doctrinamur in illa*) со временем и при усидчивости» (I.I.3)⁴⁷.

Существенно важно подчеркнуть, что намеченная оппозиция *vulgaris locutio/grammatica locutio* интересует Данте не с точки

47 В современной науке такое сосуществование двух лингвистических систем в социуме определяется как диглоссия. Ср. характеристику диглоссийной ситуации у Б. А. Успенского: «Необходимо подчеркнуть, что книжная и некнижная языковая система противопоставляются по способу усвоения, приобретения: если некнижная система усваивается естественным путем, так сказать, с молоком матери, то книжная система усваивается искусственным, книжным путем — в процессе формального обучения, что само по себе предполагает определенную кодификацию, т. е. наличие эксплицитно сформулированных правил. Таким образом, книжная языковая система накладывается на некнижную как вторичная, она приобретает в зрелом возрасте» [Успенский 1994, с. 5].

зрения ее возможных импликаций (типа «письменная/устная речь», «книжная/некнижная» и т.п.)» конкретизирующую соотношение латыни и народного языка в данный период, а используется для того, чтобы установить временную последовательность и иерархическую зависимость между двумя типами языков (идиом) — кодифицированным, регулярным и некодифицированным, узуальным. Согласно средневековой модели упорядочения мира, порядок следования вещей во времени однозначно предопределяет и их иерархическую субординацию: явление «более древнее», предшествующее в последовательности событий, занимает более высокое место и на шкале ценностей. Именно этим, первичностью народного языка (не конкретного итальянского, а народных языков вообще) Данте обосновывает тот «ожидаемый» вывод, о котором уже говорилось выше. Поскольку народная речь «первая входит в употребление у рода человеческого», используется во всем мире и является для нас естественной, «тогда как вторичная речь скорее искусственная» (*potius artificialis existat*), то «из этих двух речей более благородной является народная» (*harum quoque duarum nobilior est vulgaris* — LI.4). Только здесь получает подлинное истолкование, как свидетельство «благородства» народного языка, упоминавшийся выше аргумент в «Пире», а именно тот, что Данте усвоил латынь благодаря народному языку.

Данте утверждает, что *vulgaris locutio*, естественный язык, являющийся универсальным средством человеческого общения, в своей сущности есть один и тот же язык (*totius orbis ipsa perfrui-tur* — весь мир использует один и тот же [язык]), несмотря на произносительные и словарные различия между конкретными языками (*licet in diversas prolationes et vocabula sit divisa* — I.I.4).

Предположение, что за очевидными различиями между языками скрывается некоторая общая структура, возникло уже в ходе самых первых попыток осмысления феномена языка. Эта догадка, высказанная еще в патристике [Эдельштейн 1985, с. 178-179], стимулировала поиски универсальной грамматики, продолжающиеся на протяжении более чем двадцати столетий, которые достигли некоей вершины в трудах модистов XIII-XIV вв. [Тодоров 1978, с. 450]. Говоря о сущностном единстве живых языков, Данте воспроизводит основной постулат модистов, который в формулировке Боэция Датского гласит: «*Una est grammatica apud omnes sed diversificata sit accidentaliter*» (грамматика едина во всех [языках], хотя [языки] и различаются акцидентально) [Modi Sign. 4.49-50]. Подчеркнем, что Данте прилагает этот тезис к живым, народным языкам, поэтому здесь, на наш взгляд, нет противоречия с теми положениями, которые мы усматриваем в «Пире». Там, согласно нашей гипотезе, речь шла о субстанциональном различии

/38/

между латынью и народным языком, причем народным языком вообще — в единственном числе, понимаемом как «инвариант» конкретных народных языков. Именно об этом инварианте и идет здесь речь, в анализируемой формулировке VE, т. е. о субстанциональном единстве народных языков, и ничто не указывает на то, что тезис о субстанциональном тождестве языков Данте распространял и на языки «вторичные»,

включая и латынь. Это положение дантовской теории подробно рассматривается в работе «Спекулятивная грамматика и Данте» [Alessio 1984, p. 81-88]. Как отмечает Дж. К. Алессо, проблема сосуществования «двух языков» (или двух уровней в одном языке) — регулярного и узуального — становится во второй половине XIII в. предметом рефлексии, и этот факт рассматривается в научной литературе самых разных жанров: от «Греческой грамматики» Роджера Бэкона (ум. 1294, см. изд. [Nolan, Hirsch 1902]) до популярной энциклопедии Брунетто Латини (ок. 1220-1284; отрывок из стихотворного переложения «Сокровища» цит. в комм. Mengaldo, p. 80, [Alessio 1984, p. 84]). Среди регулярных и неизменных языков («грамматика») в трактатах этого времени называются латинский, греческий, еврейский, арабский. В лингвистической теории Роджера Бэкона сущность языка выводится из противопоставления общего и неизменного территориальным особенностям латинского и греческого языков: «...на самом деле в латинском языке (*lingua Latina*), который един, имеется много [различных] «языков» (*multa idiomata*). Что касается субстанции самого языка, то она соотносится с тем, как выражаются на нем все ученые люди и клирики, множество же «языков» безусловно зависит от множества народов (*secundum multitudinem nacionum*), которые этим языком пользуются. Так, во многом произносят и пишут на латыни италийцы (*Ytalici*), иначе — галлы (*Gallici*), иначе тевтонцы (*Teutonici*), иначе англы (*Anglici*) и другие... Точно так же было и у греков: один язык в соответствии с субстанцией (*secundum substanciam*), но особенных — много»⁴⁸. В других трактатах того же времени под языками италийцев, галлов и германцев подразумеваются совершенно другие объекты, а именно природные, неупорядоченные языки народов средневековой Европы (итальянский, французский, немецкий и др.), которым дети научаются от своих матерей и родителей (*a matribus et a parentibus*), в отличие от всеобщей латыни

48 «...in lingua enim Latina que una est, sunt multa idiomata. Substantia enim ipsius lingue consistit in hiis in quibus communicant clerici et literati omnes. Idiomata vero sunt multa secundum multitudinem nacionum utencium hac lingua. Quia aliter in multis pronunciant et scribunt Ytalici, et aliter Gallici, et aliter Teutonici, et aliter Anglici et ceteri... Sic etiam fuit apud Grecos una lingua secundum substanciam sed multe proprietates» (цит. no: [Alessio 1984, p. 84]).

/39/

(idioma idem apud omnes), которой учат детей в грамматических школах [Thurot 1869, p. 131]⁴⁹.

Поскольку для Данте понятие «природного» соотносится только с живыми народными языками, он выдвигает свой тезис о принципиальном единстве естественных языков, которые различаются, по его мнению, только фонетикой и лексикой. В этом можно увидеть существенное расхождение между теорией Данте и учением модистов⁵⁰. Применительно же к явлениям одного порядка, к народным языкам, выделяемым по прагматическому критерию, Данте следует модистам в их диалектике внутреннего («глубинного») единства и внешнего («поверхностного») различия, тем более что именно эти взгляды модистов не

только продолжали лингвистическую традицию предшествующих исторических периодов, но более чем когда-либо соответствовали общим культурным установкам эпохи (руководящей тенденции средневековья к поискам универсальности во всех областях) — стремлению «охватить мир в целом, понять его как некое законченное всеединство и в поэтических образах, в линиях и в красках, в научных понятиях — выразить это понимание» [Бицилли 1916, с. 2].

Данте различает первичный и вторичный язык по способу овладения им. В случае природного языка в качестве «обучающего устройства» выступает весь язык, сама звучащая речь, узус, говорение на языке (*locutio*), тогда как обучение вторичным языкам невозможно без «правил», которые извлекаются из языка и оформляются в виде его грамматической модели⁵¹ (отсюда и многозначность самого термина «грамматика», означающего и грамматику в современном смысле слова, и шире — вообще науку о языке, и грамматически правильный язык, каким является латынь; см. об этом подробно в [Corrini 1987, p. 179-190]). Модисты, отходя от вторичного языка, ищут в качестве универсальной субстанции грамматику, Данте же предстоит найти объединяющий принцип «неграмматических языков». Основатели общей теории грамматики (*inventores grammaticae*), в соответствии с общим принципом средневековой философии («средневековье не мыслит абстракции

49 О концепции всеобщей грамматики и различных (в связи с этим) трактовках соотношения «грамматика — латынь — народный язык» см. [Fredborg 1980], [Maierù 1983, p. 742-744].

50 О расхождении взглядов Данте с некоторыми другими положениями теории модистов см. [Lo Piparo 1983; 1986].

51 Эти два подхода четко различаются в современной теории и практике преподавания языка. Ср. «если основными единицами обучения с позиций грамматического подхода оказываются единицы языка (инвентарь), формы и конструкции (система и структура языка), то основной единицей обучения с позиций коммуникативного подхода неизбежно оказывается текст (продукт функционирования языка)» [Кудрявцева 1988, с. 64].

/40/

без ее конкретного воплощения») [Бицилли 1919, с. 89], воплощением этой грамматики считали латынь. Для Данте воплощением субстанционального единства народных языков в континууме италийской речи был *vulgare illustre*, который предстояло не только «найти», но и сделать.

Установив первичность народной речи, в которой язык обретает свое подлинное бытие (*nostra vera prima locutio* — I.П.1), Данте переходит к традиционной для средневековых мыслителей теме, связанной с определением места человека в космической структуре и положением языка среди других возможных видов коммуникации. Для доказательства того, что язык является уникальной коммуникативной системой, свойственной только человеку и составляющей его видовую особенность, Данте пользуется понятием знака (*signum*), общая теория которого была разработана еще Августином и стала основополагающей для всего средневековья [Бычков 1984, с. 197-219]³². Следуя христианской антропологии, Данте определяет человека как существо разумное, чей дух обьят грубой и темной оболочкой (букв, «толщиною и непрозрачностью») смертного тела (I.П.2). Двусоставная природа человека (единство разумного и телесного, идеального и материального) с необходимостью определяет и структуру того инструмента, при помощи которого человеку дано обмениваться мыслями с себе подобными: «Роду человеческому для взаимной передачи мыслей надобно обладать каким-либо разумным и чувственным знаком (*rationale signum et sensuale* — I.П.2). Словесный знак, или, как мы бы сказали, основная коммуникативная единица речи, удовлетворяет этому условию: «он чувственный, поскольку он звук, но и разумный, поскольку обозначает нечто по установлению» (*ad placitum* — I.П.3)⁵³. Поэта Данте язык интересует прежде всего в связи с субъектом, выражающим себя в речи, а не в отношении с предметным миром (вне связи со значением имени), поэтому он ограничивается одним этим замечанием о взаимоотношении двух сторон знака, но все же недвусмысленно выбирает в платоновской

52 О роли Августина как предшественника семиотики неоднократно писал Р. О. Якобсон [Jakobson 1971, p. 267, 278, 345, 371-372, 565]; [Jakobson 1975]; [1979, p. 574-577]; [Якобсон 1983, с. 102]; [Якобсон 1985, с. 245-247, 313]. В 60-80-ые годы XIII в. теория языкового знака особенно интенсивно разрабатывалась модистами (см. [Lambertini 1989]). Об основных положениях этой теории (в трудах Боэция и Мартина Датских) и ее влиянии на Данте см. [Corti 1981], понятие знака у Данте рассматривается также в [Lo Piparo 1983; 1986] (в основном в полемике с М. Корти и ее интерпретацией лингвистических воззрений Данте в целом).

53 Ср. «*a piacimento*» в «Пире» I.V.7, рассматривающееся выше. О термине (*ad placitum*), введенном в латинский язык Северином Боэцием в переводе трактата Аристотеля «Об истолковании»: *vox significativa secundum placitum* см. [Engels 1963].

/41/

дилемме *φύσει—θέσει* («по природе» и «по установлению») второй полюс — произвольность знака.

Общение Данте понимает в духе мистического богословия как открытие себя другому и познание себя через другого. Ни ангелы, ни животные в силу особенностей их природы не

нуждаются в специальном знаке речи для взаимного общения. Ангелы, будучи бестелесными и почти прозрачными субстанциями, благодаря чистоте их форм (Пир. III.VII.5), обладают способностью познавать друг друга либо непосредственно, либо посредством того светозарнейшего зеркала (*fulgentissimum Speculimi*), в котором все они отражаются и которое «они ненасытно созерцают» (I.П.3)⁵⁴. Этот вид коммуникации Данте называет *spiritualis locutio*. Животные не нуждаются в языке, ввиду одинаковости их поведения; движимые исключительно природными инстинктами, они могут познавать чужие действия и страсти по своим собственным (I.П.3-5).

В дантовской концепции знака, состоящего из двух частей — чувственной (звучания) и рациональной (значения) (ср. две стороны знака — *signans* и *signatura* — у Августина), собственно «лингвистические» основания этой концепции⁵⁵ сочетаются с общефилософскими: двусторонность знака связана с двусторонностью человека как одним из проявлений трехчастной структуры мира — представления общего для христианства и множества самых архаичных мифологических систем. Место предмета является его сущностной характеристикой, — причем не только место в системе или иерархии, но и прямая пространственная локализация предмета — она необходима для определения сущности предмета, так как его качества непосредственно вытекают из пространственных характеристик. Характеристика человеческого языка, занимающего срединное положение и оказывающегося местом «встречи» и снятия оппозиций, прямо соотносится с организующей ролью центра в мифологических моделях мира и конкретнее — с античной категорией середины и ее объединяющих функций, в частности в системе Аристотеля [Рабинович 1976].

Не менее традиционны и сюжеты «языка» ангелов и «языка» животных⁵⁶, свойственные не только христианской мысли, но и

54 О трансцендентных формах познания у Августина, Бонавентуры и Данте см. [Shapiro 1986, p. 54-55].

55 Характерно замечание (устное) В. Н. Топорова, который считает, что в формулировке Данте (*rationale signum et sensuale*) в сущности сжато изложена вся знаковая концепция Соссюра; о понятии лингвистического знака в теории Августина и Ф. де Соссюра см. [Kelly 1975], [Ruef 1981].

56 В истории языкознания к подобным вопросам обычно относятся как к «фантастическим теориям» средневековой науки, однако они представляют большой интерес для истории семиотики, см. специальный сборник, посвященный этой проблематике «О средневековой теории знаков» [Eco, Marmo 1989].

многим фольклорным и мифологическим традициям, но здесь они существенно отличаются от фольклорных прототипов, т. к. демонстрируют не «языки» ангелов или животных в обычном смысле этого слова, а как раз «отсутствие» таковых, т. е. в соответствии уже с собственно христианской традицией иллюстрируют раздельное, самостоятельное существование чистой субстанции означаемого и сугубо телесной субстанции означающего, объединяющихся только в «средней» сфере человеческого языка. То, что с животными ассоциируется чистое звучание, не наделенное смыслом, видно из подробной аргументации в VE I.П.6-7, где последовательно отводятся примеры, которые можно было бы (ошибочно, по мнению Данте) истолковать как случаи, когда животные говорят осмысленно. Сначала он отводит библейские примеры чудес (змий, заговоривший с Евой, и Валаамова ослица), затем оспаривает пример говорящих птиц: «так как подобное действие не речь (*locutio non est*), а некое подражание звуку нашего голоса (*imitatio soni postre vocis*); они, разумеется, пытаются подражать нам, поскольку мы издаем звуки (*sonamus*), но не поскольку мы говорим (*loquimur*)». Что же касается отдельного существования субстанции смысла, то мотив ангелов проясняется автокомментарием в «Пире», где вообще, как правило, раскрыт смысл тех общефилософских категорий, которыми Данте пользуется в своих рассуждениях о языке в VE уже без пояснения [Mengaldo 1978, p. 12]. В итальянском трактате Данте так поясняет, что представляют собой ангелы: «двигатели этих небес не что иное, как субстанции, отделенные от материи, т. е. интеллекты» (точнее было бы перевести *intelligenze* как «интеллигенции»), далее он добавляет: «в народе (*la volgare gente*) их называют Ангелами» (Пир. II.IV.2). Само это отождествление не ново, но любопытно, что Фома Аквинский, у которого находим то же соотношение понятий, отнюдь не считает, что термин «ангелы» уступает другому в научности или изысканности, для него это просто термины разных традиций: «в некоторых книгах, переведенных с арабского, отделенные субстанции (*substantiae separatae*), которые мы называем ангелами, именуются «интеллигенциями» (*intelligentiae vocantur* — *Summa theol.* 1.79.10). В латинском трактате Данте не счел нужным оговаривать это слово, не исключено, что необходимость пояснения в «Пире» вызвана как раз нетрадиционным для научного сочинения итальянским языковым контекстом. «Другие, и среди них ... Платон, полагали, что число Интеллектов [интеллигенции] соответствует ... количеству видов вещей (то есть свойств вещей)... Интеллекты эти порождают ... вещи и прототипы, каждый из них творя свой вид. Платон называет их «идеями», иначе говоря, всеобщими формами или универсальными началами. Язычники именовали

/43/

их богами и богинями, хотя и понимали их не столь философично, как Платон» (Пир. II.IV.5-6).

Многие комментаторы любят подчеркивать традиционность (для средневековой мысли) этого антропологического обоснования структуры знака⁵⁷, говоря, что Данте просто воспроизводит общее место теологической и философской литературы. Но каждое полное и последовательное «введение» в предмет не может обойтись без «общих мест». В современной нам традиции сравнение языка с другими системами коммуникации столь же

клишированно переносит из «Введения» во «Введение» сопоставление с дорожными знаками или языком пчел (возможно тоже не без подсознательного влияния платоновских метафор). Тогда как «трансцендентные» области сравнения ушли из науки в поэзию:

Заумно, может быть, поет

Лишь ангел, Богу предстоящий, —

Да Бога не узревший скот

Мычит заумно и ревет.

А я не ангел осиянный,

Не лютый змий, не глупый бык,

Люблю из рода в род мне данный

Мой человеческий язык...58

2.2. Определив «место» языка в системе мироздания, Данте переходит к его существованию во времени и к началу этого существования — происхождению языка, поскольку для средневековой мысли (разделяющей это свойство с более архаичными ментальными структурами) познание вещи невозможно без знания ее генезиса, ее сотворения. В подавляющем большинстве работ, затрагивающих эту тематику, все средневековые учения о происхождении языка выводятся из одного источника, а именно библейского текста о наречении имен Адамом (Быт 2: 19-20)⁵⁹. Однако это несомненное упрощение реальной картины, основанное не столько на специфике материала, сколько на инерции исторических взглядов нового времени, с их снисходительной оценкой научного уровня предшествующих эпох, и, вероятно, скепсисе по отношению к самой проблеме глоттогенеза. Прежде всего, религиозная концепция

57 Ср.: «Слово антропокосмично или, скажем точнее, антропологично. И эта антропологическая сила слова и есть реальная основа языка и языков» [Булгаков 1953, с. 24].

58 [Ходасевич 1983, т.1, с. 141-142], стихотворение «Жив Бог, умен, а не заумен» 1923 («Европейская ночь»).

5й «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей».

языка, разумеется, обусловлена не тем или иным уровнем лингвистической мысли, а мировоззренческими установками исследователя (чисто религиозные труды по философии языка появлялись и в XX веке, причем в них, например в «Философии имени» С. Булгакова, были учтены основные достижения лингвистики начала века). При этом даже в рамках построений, принимающих божественное сотворение языка, проблематика происхождения языка отнюдь не во всех случаях сводилась к вопросу о номинации (*nominatio rerum*), как и сам язык не сводился к номенклатуре и каталогизации вещественного мира. Однако инерция историографической мысли столь сильна, что комментаторы Данте в тех редких случаях, когда они вообще касаются этой темы⁶⁰, вопреки очевидности сводят дантовскую трактовку глоттогенеза к библейскому сюжету об Адаме-ономатете (Marigo, p. 35).

Между тем Данте, который, конечно, не оспаривает библейский текст, говорит в трактате, что «определенная форма речи (*certam formam locutionis*)⁶¹ была создана Богом вместе с первой душой» (I.VI.4), т. е. Адамом (в XXVI песне «Рая» Адам назван так же), и тут же поясняет, что значит «определенная форма»: «...я говорю «форма» и в отношении наименования вещей словами (*rerum vocabula*), и в отношении строения слов (*vocabulorum constructionem*), и в отношении их [=конструкций] выговора» (*constructionis prolationem* — I.VI.4). Таким образом, здесь ставится вопрос не о происхождении слов (имен), — на который отвечает библейский текст, — а о сотворении языка в целом, и в языке Данте различает три уровня: лексический, синтаксический (*constructio vocabulorum* можно трактовать и как «строение слова», т. е. его морфологическую или словообразовательную структуру, и как «построение слов», т.е. модели соединения слов в синтаксические конструкции) и, наконец, фонетический⁶².

Первый термин был предметом специального анализа М. Корти⁶³, которая возводит его к терминологии представителей новой грамматической науки, называемых обычно «премодистами».

⁶⁰ До недавнего времени вопрос о происхождении языка у Данте, как правило, просто обходили, отделяясь ничего, в сущности, не значащими формулировками, варьирующими (или дословно повторяющими) старый тезис Ф. Д'Овидио о средневековой манере начинать все *ab ovo*. [D'Ovidio 1873].

⁶¹ В современном итальянском переводе А. Мариго *determinata forma* (Marigo, p. 35).

⁶² Некоторые исследователи интерпретируют эти три уровня иначе: лексический (*rerum vocabula*), морфологический (*vocabulorum constructio*) и синтаксический (*constructionis prolatio*) [Shapiro 1990, p. 163].

63 См. [Corti 1981a, p. 33 sq; 1982, p. 47-49]. Т. Б. Алисова рассматривает термин *forma* в более широком контексте средневековой философии [Алисова 1985, с. 31-34].

/45/

Forma locutionis (или *dictionis*) противопоставлялась ими «акцидентальным формам» (*formae accidentales*), присущим отдельным языкам, и выступала как обозначение универсальных категорий языка вообще. Таким образом, в их системе эти термины никак не были связаны с проблемой происхождения языка, модисты вообще не занимались этой проблемой и исходили из того, что универсалии являются врожденными и предшествуют тем или иным конкретным их реализациям. Понятие «формы речи» у Данте, с одной стороны, шире того специализированного значения, которое в грамматических теориях противопоставлено акциденциям, т. е. грамматическим категориям конкретных языков, а с другой стороны, «лингвистичнее» этого значения, поскольку относится не к универсальной ментальной структуре, лежащей, согласно учению модистов, в основе языка, а к внутреннему принципу организации самого языка, строению всех его уровней, включая и телесное звуковое оформление. Последнее особенно важно. Звуковая сторона языка, как отмечают исследователи, мало интересовала модистов, и свое понятие формы они не распространяли на уровень означающего [Stefanini 1973, p. 273]. Для Данте, напротив, именно эта сторона языка, по вполне понятным причинам, не могла не стать предметом пристального внимания и не должна была представляться чем-то аморфным, только звучащей физической материей. Как бы мы не интерпретировали дантовскую «форму» в отношении выговора — *ad constructionis prolationem*, она все-таки относится к плану выражения, и в этом смысле дантовская версия происхождения языка (а значит, и сама концепция языка) лучше описывается в терминах глоссематики (как сотворение формы и для плана содержания, и для плана выражения), нежели выводится из учения премодистов. В акте творения у Данте роли распределяются таким образом, что Бог выступает как «формальная причина» языка (*causa formalis*, по Аристотелю) [Corti 1981, p. 77], а Его творение — Адам как «действенная причина» (*causa efficiens*), ибо он претворяет форму (т. е. сущность, идеальный план всей системы языка), которую сотворил (*concreata*) Бог, в конкретный звучащий язык (который по традиции отождествлялся с древнееврейским). Этот осуществленный язык «произвели уста (собственно, даже губы) первого говорящего»: *primi loquentis labia fabricarunt* (I.VI.7). Термин *fabbricare*⁶⁴ по отношению к языку уже встречался нам в «Пире», где относился к действиям поэта, с

04 Об этом термине см. [Sermoneta 1969, p. 146]: *fabricacio seu figura dicitur de apparatu rei corporalis*, т. е. термины эти обозначают изготовление материальных вещей. Важно отметить, что представление о «форме» (и ее божественном происхождении) как образце, по которому мастер должен изготовить вещь, осознавалось и средневековыми ремесленниками [Харитонович 1982, с. 29]. Значимое терминологическое противопоставление в названии действий Бога (*concreata*) и Адама (*fabricarunt*) в этом совместном акте сотворения языка, ускользающее от внимания некоторых исследователей,

обнаруживает неправомерность самой постановки вопроса у Б. Панвини: так как же представлял себе Данте этот первый язык, созданным Богом (*creata da Dio*) или сделанным первым человеком (*fabbricata dal primo uomo*)? и несостоятельность легкого ответа: противоречие формулировок вызвано небрежностью, недодуманностью, извинительной для незаконченных произведений [Panvini 1966, p. 176-177].

/46/

этим в общем согласуется и эпизод с Адамом в XXVI песне «Рая», где Адам говорит о языке, которым он «пользовался и который он сделал» (*l'idioma ch' usai e ch' io fei — Paradiso. XXVI.114*)⁶⁵.

Первый язык человечества был богодухновенным языком, языком благодати (*lingua gratiae — I.VI.6*), и «эта форма применялась бы во всем языке говорящих» (*omnis lingua loquentium — I.VI.4*)⁶⁶, если бы не была рассеяна (*dissipata*) по вине человеческой самоуверенности, проявившейся в возведении «башни Вавилона, что означает башню смешения» (*turris confusionis — I.VI.5*).

2.3. Вавилонское столпотворение — это «лингвистическое грехопадение» человека, которое Данте прямо сопоставляет с грехопадением Адама (сопоставление, впрочем, тут же дополняется третьим компонентом — всемирным потопом). Эволюция языков (уже во множественном числе), как и история рода человеческого, начинается с отпадения от изначального состояния совершенства. Если эволюция и разнообразие языков начинается с Вавилона, вполне естественным становится негативная оценка эволюции как порчи языка (о чем уже кратко говорилось в «Пире»). Впоследствии в «Божественной комедии» Данте выдвинул несколько иную схему истории языка, приблизив его первоначальную порчу к первому и главному грехопадению. В латинском же ученом трактате первичный язык, на котором говорил Адам, традиционно отождествлялся с древнееврейским, и, таким образом, исходная «форма речи» сохранилась и после Вавилона, причем это находит свое объяснение: «эту форму речи унаследовали сыны Евера, называемые поэтому Евреями. После смешения она сохранилась только у них, дабы Искупитель наш, вознамерившийся из человеколюбия родиться у них, пользовался не языком смешения, но благодати»

⁶⁵ На точное техническое значение термина *fabricare* в этом месте VE обращает внимание М. Корти [Corti 1981, p. 77].

⁶⁶ Важно отметить единственное число слова «язык»: для периода, предшествующего смешению языков, главного вопроса универсальной грамматики — о соотношении Языка и языков — просто еще не существовало, т. е. исходное единство языка у Данте носит не «типологический», а «исторический» характер, что подтверждается его последующими соображениями о родстве новых языков.

(I.VI.7)67. В «Рае» Данте отказывается от этого отождествления: язык изменяется, потому что изменяется все, что зависит от склонностей человека. Природа предопределяет лишь способность к речи, а характер речи определяет сам человек. Поэтому язык Адама «угас / (*fu tutta spenta*) задолго до немислимого дела / Тех, кто Немвродов исполнял приказ» (Рай. XXVI.124-126), но видимо, не сразу после грехопадения Адама, а уже после его смерти: «Пока я не сошел к томленью Ада / «И» в дольном мире звался Всеблагой... / Потом он звался «Эль»; и так любой / Обычай смертных сам себя сменяет...» (Рай. XXVI.133-137). Язык не только эволюционировал до столпотворения, но уже древнееврейский язык был не первичной «формой речи», а ее искажением, т.е. др.-евр. эль, служившее табуистическим именованием Бога (в трактате Данте считает это слово не только принадлежащим первому языку, но и вообще первым произнесенным словом — I.IV.4), оказывается уже не первым его именованием, а вторичным, возникшим вместо первичного «И»68.

67 Эта тема доводится до конца в следующей главе (I.VII): «священный язык» сохранился у тех немногих, которые «не участвовали и не одобряли затеянного» (т. е. строительства башни). Эта малая часть происходила, как заключает Данте, «от семени Сима ... из нее-то и произошел народ Израиля, говоривший на древнейшем языке (*antiquissima locutione sunt usi*) вплоть до своего рассеяния» (I.VII.8). Иными словами, и сам народ — евреев — постигает та же участь рассеяния (уже после пришествия Христа), какой до этого подверглись языки, за их новое прегрешение (Рай. VI.92-93).

68 В комментариях к этим текстам обычно отмечают расхождения между именами Бога в VE I.IV.4 и *Paradiso* XXVI.133-136. В трактате, поскольку Адамов язык отождествляется с древнееврейским, Данте в соответствии с традицией (от св. Иеронима, Исидора до более поздних средневековых учебников и лексиконов, см. Mengaldo *com. ad loc*), использует *El* как первое имя Бога (ср. «*primum apud Hebraeos Dei nomen*». *Isid. Etym.* VII.1.3). В «Комедии» имена Бога включены в другую перспективу — в картину изменчивости людского узуса («и так любой / Обычай смертных сам себя сменяет, / Как и листва сменяется листвою» (Рай XXVI. 136-138). Ср. [Schiaffini 1959, p. 82-89]. О возможных источниках имени / в связи с символическими интерпретациями гласных, над которыми «средневековая мысль трудилась на протяжении веков», см. [Guerrì 1909], [D'Ovidio 1926], [Nardi 1949a, p. 241-257], [Terracini 1957]. По-видимому, *El* и в самом деле является «вторым» в хронологическом отношении еврейским именем Бога; из двух частей Библии: «Яхвист» и «Элохист», в которых Бог соответственно именуется Яхве (*tetragrammon YHWH*) и Элохим — современная текстология считает «Элохист» более поздней. См. [Гранде 1972, с. 25-26]. Вопрос о том, мог ли Данте знать об этих двух именах в Библии, не так уж непохожих на названные им, кажется, никогда не обсуждался комментаторами «Комедии» (новейший комментарий см. [Chiavacci Leonardi 1997, p. 731]. То же утверждает в своей новейшей работе «Поиски совершенного языка» Умберто Эко. Для имени / он также предполагает еврейский источник, который находит в каббалистической традиции (в

частности, у Авраама Абулафии), приписывавшей самостоятельное значение каждой букве. Таким образом, каждый знак в имени YHVH уже есть имя Бога, тем самым и Y, которое Данте мог бы воспринять как I (см. [Есо 1993, р. 55], далее — р. 56 sq. — обсуждаются возможные пути знакомства Данте с этими текстами). Об обсуждении противоречия между VE I.IV.4 и Рай (XXVI. 133-136 в XVI в. см. во II ч. с. 327-328; 331-332). Попытка примирить противоречие в трактовке «эволюции» языка (после Вавилонского смешения в трактате и до него в поэме), предпринятая [Palmieri 1964] при помощи понятия постепенного, «поэтапного» осуществления языка Адамом, по сути дела не снимает этого противоречия, и, таким образом, вопрос остается открытым, ср. также трактовку «языка Адама» у Данте в [Mazzocco 1993, р. 159-179].

/48/

Самому столпотворению Данте посвящает целую главу трактата (I.VII), превращая краткий рассказ книги Бытия⁶⁹ в развернутую картину грандиозного строительства с подробным перечнем строительных профессий: «Итак, в упорстве сердца своего возомнил нераскаянный человек, по наущению великана Немврода, превзойти не только природу, но и самого зиждителя — Бога — и начал воздвигать в земле Сennaар, названную впоследствии Вавилон, то есть смешение, башню в надежде достигнуть неба и, вознамерившись, невежда, не сравняться, но превзойти своего Творца... И вот весь почти род человеческий сошелся на нечестивое дело: те отдавали приказания, те делали чертежи, те возводили стены, те выравнивали их по линейкам, те выглаживали штукатурку, те ломали камни, те по морю, те по земле с трудом их волочили, а те занимались всяческими другими работами, когда были приведены ударом с небом в такое смешение, что все говорившие при работе на одном и том же языке заговорили на множестве разнородных языков...» (*omnes una eademque loquela deserviebant ad opus, ab opere multis diversificatis loquelis desinerent* — I.VII.4-6). Описание строительных работ⁷⁰ завершается у Данте гипотезой о

69 Быт 11: 1-8: «На всей земле был один язык и одно наречие (*Erat autem terra labii unius et sermonum eorundem*). Двинувшись с востока, они нашли в земле Сennaар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола (*bitumen*) вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотой до небес; и сделаем себе имя (*celebremus nomen nostrani*), прежде нежели рассеемся (*dividamus*) по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык (*unus est populus et unum labium omnibus*); и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого (*confundamus ibi linguam eorum ut non audiat unusquisque vocem proximi sui*). И рассеял их (*divisit eos*) Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город (и башню). Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли (*confusum est labium universae terrae*), и оттуда рассеял их (*dispersit eos*) Господь по всей земле».

70 Ю. М. Эдельштейн отмечает, что патристика очень мало затронула тему Столпотворения, практически почти не выходя за рамки библейского текста [Эдельштейн 1985, с. 194]. Современное дантоведение, помимо церковных авторов, трактующих этот эпизод, отмечает также влияние литературных источников (что особенно важно для наших дальнейших рассуждений) — описание строительства города в «Энеиде» Вергилия (Aen. I 423-425).

/49/

происхождении разных языков из специализированных профессиональных «диалектов». «Ведь только у занятых одним каким-нибудь делом удержался один и тот же язык, например, один у всех зодчих, один у всех перевозчиков камня, один у всех камнетесов, и так случилось со всеми по отдельности работниками. И сколько было различных обособленных занятий для замышленного дела, на столько вот и языков разделяется с тех пор род человеческий» (*Quot quot autem exercitii varietates tendebant ad opus, tot tot ydiomatibus tunc genus humanum disiungitur — I.VII.7*)⁷¹.

Поскольку Данте — без преувеличения — можно назвать первым диалектологом (о чем еще пойдет речь дальше), то, вероятно, не будет непростительной модернизацией, если мы усмотрим в цитированном рассуждении зачатки «социальной диалектологии», тем более что далее в трактате Данте говорит о языковых различиях внутри одного города (I.X.7). На то же самое обстоятельство, как кажется, указывает и заключительный довод рассматриваемого отрывка, связывающий «социальные диалекты» (пропорционально участию в греховном строительстве) с категориями стилистической иерархии: «...и насколько какие превосходнее работали, настолько неотесаннее и грубее их речь» (*et quanto excellentius exercebant, tanto rudius nunc barbariusque locuntur — I.VII.7*).

Что же именно произошло в Вавилоне, какой механизм языка был поврежден в акте смешения?⁷² Наиболее лаконичные комментаторы ограничиваются констатацией результатов этого действия: вместо одного — вечного и вселенского языка возникло множество других, обреченных на постоянную эволюцию, наречий.

71 Это отмечено в комментарии [Голенищев-Кутузов 1968, с. 570], со ссылкой на А. Скьяффини: «флорентийца мысль о том, что следует приписать цехам смешение языков, могла поразить молниеносно и показаться вполне естественной и удачной». На самом деле это высказывание принадлежит не А. Скьяффини, а другому итальянскому ученому — Ф. Д'Овидио [D'Ovidio 1931, p. 304], работу которого цитирует Скьяффини в своем курсе лекций о VE [Schiaffini 1959, p. 81-82]. Укажем также одну более раннюю статью Д'Овидио о VE, которая знаменует начало научного освоения трактата [D'Ovidio 1873]. О других

дантоведческих работах Франческо Д'Овидио (1849-1925), крупного итальянского филолога-романиста, см. [Russo V. 1966].

72 Лингвистические аспекты вавилонского смешения рассматриваются в фундаментальном труде: [Borst 1957-63, о Данте: voi. 2, t.2, S.871]. См. также [Донских 1984, с. 35]. Философский подход к проблеме множественности языков и культур рассматривается в статье Н. С. Трубецкого «Вавилонская башня и смешение языков» [Трубецкой 1923].

/50/

Эта версия возводится к бл. Августину (*De ci vitate Dei*. XV. 11), и некоторые современные комментаторы склонны рассматривать дантовскую концепцию «смешения» как факт создания Богом новых языков в зависимости от ремесел занятых в строительстве работников (Marigo, *comm. ad loc.*), [Panvini 1966, p. 182]. Другое толкование сводится к тому, что Бог не создавал никаких новых языков, но разбил единое целое языка (тезаурус?) на части, и из осколков этого целого каждая группа рассеянного народа уже по своему усмотрению создавала свой язык [Vinay 1959, p. 367-388]. В традиции, на которую несомненно опирался Данте, встречаются и более детальные указания на суть «повреждения».

Так, Исидор Севильский связывает разнообразие языков с распадом звуковой материи знака (*in diversos signorum sonos* — *Etym.* IX.1.1). Петр Коместор, «классик» христианской истории XII в., автор «Схоластической истории», судя по всему, считает, что «смешение» произошло на уровне «формы», ибо внешне слова остались те же самые, а «способы говорения» стали разными (*quia voces eadem sunt apud omnes gentes, sed dicendi modos et formas diversis generibus divisit*)⁷³, что можно понимать как повреждение знакового механизма, способа означивания — *modus significandi*.

Похоже, что Данте придерживался той же точки зрения, поскольку он говорит, что при вавилонском столпотворении была рассеяна (*dissipata*) форма (I.VI.4), и, стало быть речь идет о повреждении самого устройства языка, той «*forma locutionis*», которая была создана Богом вместе с первой душой и отнята Им у непокорных потомков Адама. На этом вопросе следует остановиться подробнее, так как он принципиально важен для понимания Дантовой концепции механизмов дивергенции, которые продолжают действовать в языке, предоставленном — после столпотворения — естественной эволюции. Данте утверждает, что «весь наш язык, кроме созданного Богом вместе с созданием первого человека, был переделан по нашему вкусу (*a nostro beneplacito reparata*) после того смешения, которое было не чем иным, как забвением (*oblivio*) первоначального языка» (I.IX.6). «Забвение первоначального языка», изглаживание его из памяти людей (а память считалась способностью «чувствующей души» — *anima sensitiva*) не затрагивает

73 Цит. по: [Corti 1978, p. 253], там же приводится и другая версия, подтверждающая такое толкование. Во «Всеобщей истории» Альфонса Мудрого (1221-1284) говорится о том, что строители прекратили работу, потому что перестали понимать друг друга и если один просил кирпичи, другой подавал ему смолу и т. д., иначе говоря, слова (звуковые оболочки слов) утратили вдруг свои исконные значения. На такое же понимание акта «смешения языков» указывают и более ранние комментарии еврейских экзегетов, см. небольшую заметку [Sarfatti 1986].

/51/

онтологического статуса предмета, не отменяет его объективного (хотя бы и «забытого») существования⁷⁴, подобно тому как изгнание из Рая не отменяет самого рая и земных чаяний о нем. В этой связи очень важно отметить, что когда Данте после рассмотрения дробящейся на бесконечные говоры италийской речи переходит к описанию *vulgare illustre*, он, по существу, говорит о прояснении формы языка в отношении слов, конструкций и звуков, выделяя те же три уровня, которые были отмечены им в рассуждении об «определенной форме речи», сотворенной вместе с душой первого человека: «Наставлением возвышена она несомненно потому, что из стольких грубых италийских слов (*de tot rudibus Latinorum vocabulis*), из стольких запутанных оборотов речи (*de tot perplexis constructionibus*), из стольких уродливых говорков (*de tot defectivis prolationibus* — выговоров), из стольких мужиковатых ударений (*de tot rusticanis accentibus*) вышла, мы видим, такой отличной (*egregium*), такой распутанной (*extricatum*), такой совершенной (*perfectum*) и такой изысканно светской (*urbanum*), какой являют ее Чино да Пистойя и его друг (т. е. сам Данте. — Л. С.) в своих канцонах» (I.XVII.3).

Один из крупнейших религиозных философов XX в. С. Булгаков трактует вавилонское столпотворение «как феноменологическое умножение одной и той же реальности, подобное разложению белого луча на спектр, как лингвистическое умножение и усложнение одного внутреннего языка, который первоначально не различался и по своему звуковому телу» [Булгаков 1953, с. 24] (разрядка авт.). Эта мысль представляется нам вполне адекватным комментарием к Дантовой трактовке вопроса.

Человеческая речь утратила свое первозданное совершенство⁷⁵, и так как «человек существо крайне неустойчивое и переменчивое» (*instabilissimus atque variabilissimus*), то язык не может быть ни долговечным, ни постоянным, подобно остальному, что у нас имеется, например обычаям и нравам⁷⁶, должен изменяться в связи с расстоянием между местностями и течением времени» (I.IX.6). Однако необратимость этого процесса, невозможность вернуть человека и его язык к изначальному совершенству не отменяет возможности индивидуального достижения совершенства для отдельной личности или отдельного языка. Описывая «феноменологическое умножение» языка в Италии, Данте говорит: «...если бы

74 Ср.: «Грех и зло мыслимы лишь как извращение нормы, извращение прообраза, но во всяком извращении присутствует искаженный прообраз» [Вышеславцев 1929, с. 57].

75 Совершенство в эстетике Фомы Аквинского означает полное, абсолютное воплощение формы. См.: [Есо 1988, р. 66-71].

76 Об исправлении в переводе «нравов и одежды» см. выше прим. 2.

/52/

мы захотели подсчитать основные, второстепенные и третьестепенные различия между наречиями Италии (*vulgaris Ytalie variationes*), то и в этом крошечном закоулке мира пришлось бы дойти не то что до тысячи, но и до еще большего множества различий» (I.X.7, перев. I.X.9). Данте использует ту же аналогию с белым цветом, утверждая, что наречия Италии представляют собой вариации одного и того же языка, по которому все они должны измеряться, оцениваться и равняться (I.XVI.6), подобно тому «как все цвета измеряются по белому и называются более или менее видными в зависимости от того, ближе или дальше отстоят от белого» (I.XVI.2).

Если грехопадение Ветхого Адама искупается жертвой Христа — Нового Адама, то лингвистическая катастрофа (*confusio linguarum*), утрата первоначального языка, как известно, «уравновешивается» в Новом Завете обретением дара понимания языков, когда в день Пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух: «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян 2: 4) — «*et repleti sunt omnes Spiritu Sancto et coeperunt loqui aliis linguis prout Spiritus Sanctus dabat eloqui illis*» (Act 2: 4, разрядка наша). Данте не касается этого новозаветного эпизода и обращается непосредственно к фактам своего времени⁷⁷. В его трактовке даром постижения или различения (*discretio*) народных языков были наделены лучшие из поэтов Италии. Он называет представителей одной (болонской) школы: Гвидо Гвиницелли, Гвидо Гизильери, Фабруццо, Онесто, *qui doctores fuerunt illustres et vulgarium discretione repleti* (I.XV.6) — (которые были сиятельными учеными и исполненными [даром] различения народных языков). Но прежде чем перейти к главной теме всего трактата — проекции смешения языков на современное состояние — Данте очень сжато, отдавая себе отчет в недостаточности имеющихся в его распоряжении сведений, обрисовывает движение возникших в Вавилоне языков во времени и пространстве (I.VIII).

2.4. Данте не берется решать, когда была заселена Европа и впервые ли появились здесь пришельцы с Востока после столпотворения, или же «вернулись в Европу туземцы» (I.VIII.2), т. е. те, кто заселил Европу до построения башни, но ушел в Вавилон, чтобы участвовать в этом строительстве. Во всяком случае, население,

77 Отыскивание параллелей между событиями ветхозаветной истории и явлениями нового времени характеризует метод постижения действительности, разработанный Иоахимом Флорским (*doctrina abbatis Joachimi*). О влиянии иоахимитского учения и символики на Данте см. [Russo F. 1966]. Там же приводится и основная литература по этому вопросу.

/53/

пришедшее после Вавилона, принесло с собой «троякий язык» (*ydiuma tripharium*), распределившийся по трем крупным ареалам. Один язык, чьим «признаком общего изначального единства» осталась утвердительная частица «*uo*»⁷⁸, распространился «от устьев Дуная или от Меотийских болот до западных пределов Англии» и Океана (LVIII.3, перев.: I.VIII.4), т. е. занял всю северную часть Европы, и «впоследствии через славян, венгров, тевтонов, саксонцев, англичан и множества других племен (*nationes*) он разветвился на различные наречия» (*per diversa vulgaria derivatum* — там же). Не вполне понятно, разделился ли язык на эти наречия или же перечисленные «племена» образовали нечто вроде «суперстратов», видимо, следует предпочесть первое прочтение, как более простое. Область второго языка (тех, «которых мы теперь называем греками» — I.VIII.3, здесь Данте обходится без утвердительной частицы) простирается «от пределов венгров на восток» (I.V.4, перев. I.VIII.5) и далее за восточные границы Европы (т. е. в Малую Азию). Третий язык не имеет общего определения и занимает «всю остальную часть Европы» (I.VIII.5, перев. I.VIII.6), т. е. юго-западную часть. Выделенные Данте ареалы, по мнению Г. Винэ, образуют почти что геометрические фигуры, сориентированные по странам света: «германский» ареал на севере, и два ареала на юге — «греческий» на востоке и «романский» на западе [Vinay 1959]⁷⁹.

Говоря о третьем языке (*tertium ydiuma*), т. е. языке романской Европы, Данте делает оговорку, что «теперь и он представляется трояким» (*nunc tripharium videatur* — I.Vili.5, перев. I.Vili.6), и выделяет три группы или три «наречия» опять-таки по тому признаку, что одни при утвердительном ответе говорят «*os*», другие «*oil*», третьи «*si*», т. е. соответственно «*Yspani, Franci et Latini*» (там же). Произносящие «*os*» занимают «западную часть

78 Данте различает языки (вернее называет их) по тому, как звучит в них утвердительная частица. Более последовательно это развито им применительно к романским языкам, вероятно, в этом он следовал — хотя бы отчасти — существовавшей традиции. Название «язык *os*» появилось уже в «Новой жизни» (XXV.4), производные от «*os*» названия для провансальского языка засвидетельствованы уже в XIII в., см. [Мейлах 1975, с. 13-17].

79 Такие трехчастные, схематичные изображения известного мира принято возводить к одной из техник средневековой картографии — к картам типа Т-О, представляющим собой букву «Т», вписанную в круг. Огромное количество карт этого типа, служащих

иллюстрацией к сочинениям Исидора, Рабана Мавра, Беды и др. авторов, встречается в рукописной традиции начиная с VIII в. см. [Райт 1988, с. 68]. Там же указана и литература, относящаяся к географическим и лингвогеографическим представлениям Данте: [Mooge 1903], [Mori 1922], [Andriani 1923], где кратко рассматриваются разные региональные деления Италии (от Августина до Данте и Флавио Бьондо в XVb.).

/54/

южной Европы, начиная от границ Генуэзцев»⁸⁰, те, кто говорят «si», — «восточную от этих же границ», а говорящие «oil» «оказываются по отношению к ним северянами» (I.VIII.6, перев. I.VIII.7-9). Тем не менее это несомненно родственные языки: «И явным признаком того, что наречия (*vulgaria*) этих трех народов (*Gentium*) происходят от одного и того же языка (*ab uno eodemque ydiomate ... progrediantur*) служит то, что многое в них обозначается одинаковыми словами (*per eadem vocabula nominarum videntur* — I.VIII.5, перев. I.VIII.6). Далее с безупречной компаративистской интуицией Данте приводит список таких слов, вернее, понятий, «одинаково» выражаемых в сопоставляемых языках. Список этот безукоризнен в «диагностическом» отношении и составлен по иерархическому принципу, характерному для «идеографических» словарей: «Бог», «небо», «любовь», «море», «земля», «есть», «живет», «умирает», «любит» и, добавляет Данте, «чуть ли не все остальное» (I.VIII.5, перев. I.VIII.6). Этот список слов, доказывающий единственность трех романских языков (и сходство латыни с ними)⁸¹, состоит из имен существительных (их формы даны в аккумулятиве) *Deum, celum [coelum], amorem, mare, terram* и глаголов (в форме 3-го лица ед. числа настоящего времени) *est, vivit, moritur* (отложительный глагол), *amat*. Данте не приводит провансальских, французских и итальянских соответствий ко всем приведенным латинским словам (столбцы с примерами из различных языков появятся гораздо позже, в трактатах XVI в. Гильома Постеля, Конрада Гесснера и др.), но только показывает метод, проиллюстрировав его одним весьма убедительным примером в следующей главе VE: «Итак, — пишет Данте, — знатоки трех языков (*trilingues doctores* — трехязычные

⁸⁰ Показательно, как Данте соблюдает иерархичность в своей таксономии: там, где он пользуется не географическими, а этническими определениями, он, говоря о больших группах («языках», т. е. языковых семьях), обозначает их границы, ссылаясь на целые народы (итальянцы, французы, венгры), определяя же границы отдельных языков, он переходит на уровень «диалектов» или говоров. Тенденция к дифференцированному подходу наблюдается и в обозначении понятия «язык»: *lingua* — язык до Вавилонского смешени, *ydioma (ydiomata)* — отдельные языки (или языковые группы), *vulgaria* — современные народные языки (наречия, говоры) [Tavoni 1990, p. 235]. Несмотря на то что выделенная М. Тавони иерархия обозначений не соблюдается в VE с абсолютной последовательностью (ср. IX: *lingua oil, lingua Siculorum* и др.), скрупулезный анализ этих и других терминов со значением «речь—язык» в [Tavoni 1987] опровергает мнение Юэрта (см. его работу о терминологии VE [Ewert 1940, p. 361-362]) и др. (Мариго, Менгальдо) о полной бессистемности у Данте употребления терминов *sermo, locutio, loquela, lingua, ydioma, vulgare*.

/55/

мастера) сходятся (*conveniunt*) во многих словах и первым делом в слове *amor* (любовь)» (I.IX.3). Далее приводятся строчки из стихов лимузинца, главы провансальских трубадуров Гираута де Борнеиля (род. ок. 1162/69), французского трувера и Наваррско-го короля Тибо IV Шампанского (1201-1253) и болонца Гвидо Гвиницелли (ок. 1230/40-1276), основателя итальянской школы «сладостного нового стиля». Иными словами, приводится провансальское, французское и итальянское соответствие к латинскому этимону AMOR. Изысканность выбора этих примеров заключается в том, что форма *amor* у всех трех поэтов оказывается идентичной, для чего специально подобраны провансальский и французский примеры, где это слово стоит в косвенном падеже, тогда как номинатив в провансальском — *amors*) (отмечено А. Мариго в *com. ad loc.*). Вне этого контекста, в многочисленных цитатах из итальянских поэтов, которые приводятся в VE, наряду с формой *amor* (любовь, Амор), встречается и общеупотребительное итальянское слово *amore*, в том числе у того же Величайшего Гвидо (*Maximus Guido*) в I.XV.6, II.V.4, у болонца «поменьше» Онесто дельи Онести (I.XV.6), сицилийца Ринальдо д'Аквино (I.XII.8, II.V.5) и у самого Данте, где он цитирует «Новую жизнь» (II.VIII.8). Интересно отметить, что во II книге трактата (практическая поэтика), там, где рассматриваются вопросы выбора слов, т. е. словарь итальянского поэтического языка, Данте рекомендует вариант *amore*, относя его к разряду «расчесанных» (перевод Ф.Петровского) слов — *vocabula rexa* (II.VII.5)⁸². Остальные соответствия не приводятся, но опять-таки в цитатах

82 Как выстроен отдел «расчесанных» слов (или, точнее, хорошо вычесанных: термины *rexis*, *rexa* относятся к области ткацкого и прядильного ремесла, к технике обращения с ворсистыми тканями), тоже весьма показательно. Сначала дается определение: к этой категории слов относятся трехсложные или почти трехсложные слова (такие как *disio* ‘желанье’, которое можно произнести и в три и в два слога, или *donna*, в котором еще слышится лат. *domina*), в которых нет придыхания, нет «сдвоенных» согласных *z* или *x* (т. е. аффрикат [ts, dz] и скопления двух согласных *ks*), и соблюдается ряд других фонетических запретов (все они перечислены), и ударение падает на второй слог с конца, т. е. ударный слог приходится ровно на середину слова (II.V.5), таким образом, слово *a-mòg* в этот разряд лексики уже не попадает. Семантика и символика этого ряда из девяти слов, соотнесенных с тремя главными темами поэтического искусства (см. ниже с. 82), проанализирована П. В. Менгальдо (см. *com. ad loc.*); представим приведенную Данте последовательность в виде трех триад, выделив в каждой из них заглавное слово:

amore ‘любовь’

donna ‘донна’

disio 'желанье' virtute 'добродетель'

donare 'дарить'

letitia 'радость' salute 'здравие'

securtate 'безопасность'

defesa 'защита'.

/56/

встречаются итальянские соответствия к лат. Deus и coelum: Dio, cielo⁸³.

Таким образом, наличие общих слов для этих трех языков доказывает единство языка в начале смешения (т. е. в первое время), а с другой стороны, подтверждает сам факт дивергенции, который тоже нуждается в доказательствах, т. к. не относится к числу самоочевидных и заметных любому наблюдателю. Этот процесс обусловлен непостоянством человеческой природы (эта формулировка уже цитировалась выше — I.IX.6) и «течением времени». Нужно учесть, что самый факт изменения языка во времени нуждался в доказательстве: «И не следует, я думаю, не только сомневаться в указанном нами течении времени, но лучше, мы полагаем, иметь его в виду, ибо ... мы гораздо больше отличаемся от древнейших наших сограждан, чем от отдаленнейших современников» (I.IX.7). Изменения во времени незаметны наблюдателю, потому что они постепенны, «а постепенного движения мы не замечаем; и чем больше времени требуется, чтобы заметить изменение предмета, тем более постоянным он нам представляется» (*stabiliorem putamus* — I.IX.8). Поэтому не следует удивляться, что «люди, по своим суждениям мало отличающиеся от бессловесных животных», уверены, что жители одного города пользуются «одной и той же неизменной речью» (*invariabili semper sermone* — I.IX.9), тогда как сам Данте «смело свидетельствует», что «если бы теперь воскресли древнейшие жители Павии, они говорили бы с ее нынешними жителями на языке особом и отличном» (*vario vel diverso* — I.IX.7). Если сам факт изменения языка отмечался и ранее⁸⁴, то у Данте он впервые становится предметом специального рассмотрения. Не исключено, что внимание к временному фактору могло возникнуть у Данте под влиянием теоретических дискуссий вокруг понятий «время» и «течение времени» (*temporis*

⁸³ Проведем эту работу, приведя все недостающие соответствия в три столбца (отметим, что и этот список состоит из девяти слов, ср. выше прим. 82):

лат. прованс. ст.-фр. ит.

Deum Deu/Dieu Dieu Dio

celum cel ciel cielo

amore[m] amor amour amor(e)

mare mar mer mar(e)

terram terra terre terra

est es/ez est è

vivit viu vit vive

moritur muors meurt muore/more

amat ama/am aime ama

84 Ср. известное высказывание св. Иеронима: «*ipsa latinitas et regionibus quotidie mutetur et tempore*» (латынь беспрестанно меняется и по отдельным областям и во времени), а также дантовскую ссылку на Горация (Пир II.XIII. 10).

/57/

decursus), развернувшихся в XIII в. среди болонских юристов⁸⁵ в связи с изменениями форм общественной жизни⁸⁶ и привычек и возникшей необходимостью определения соответствующих понятий — *habitus* и *consuetudo*. В этих дискуссиях пересматривались традиционные взгляды на эти явления как неизменные и устойчивые⁸⁷, видимо, это и имел в виду Данте, аргументируя изменчивость языка неустойчивостью нравов и привычек. В комментариях этого времени к юридическим *questiones* содержатся точные указания на разную длительность процессов, а также определения отрезков времени разной протяженности: 10-20 лет — *consuetudo longa*, 30-40 лет — *longissima*, 50 лет — *longeva* и, наконец, наибольшая мера *vetusta* — это то, что не сохраняется в памяти («древнейшие жители Павии» у Данте — это «*vetustissimi Papienses*»).

Второй фактор дивергенции — территориальный. Данте, исходивший в изгнании «все пределы, куда только проникает родная речь» (Пир. I.III.4), мог на собственном опыте судить о языковых различиях «в связи с расстоянием между местностями» (I.IX.6). Мы остановимся сейчас только на теоретической стороне этого подробного описания с тем, чтобы ниже вернуться к нему как к «диалектологическому» очерку и рассмотреть конкретные наблюдения и практические решения Данте. Общий теоретический вывод из этой описательной части, в сущности, неоспорим и по сей день: если «у одного и того же народа происходят с течением времени последовательные изменения речи (*sermo varietur ... successive per tempora*) и она не может оставаться постоянной, то у обитающих отдельно и отдаленно друг от друга она непременно должна изменяться по-разному» (*varie varietur*), подобно тому как по-разному изменяются нравы и обычаи (*mores et habitus*), «устанавливаемые не природой и не гражданской общиной (*consortio*), но порожденные людскими вкусами (*humanis beneplacitis*) и местным соглашением (*localique congruitate* — I.IX.10).

Помимо территориальных диалектных различий Данте указывает как на явление, которое «еще удивительнее», чем расхождения в речи близких соседей, — на дифференциацию речи в пределах

85 Впервые на это указала М. Корти [Corti 1982, p. 55-59], и мы пользуемся ее примерами.

86 Динамика социальных и политических переворотов отличает Италию XIII в. от медленного и монотонного средневекового уклада жизни остальной Европы, «освященного прецедентами, закрепленного хартиями и дипломами незапамятных времен», что, по мнению П. Бицилли, и должно было служить толчком к пробуждению исторической мысли именно в Италии [Бицилли 1916, с. 51].

87 Ср. определение понятия *habitus* в формулировке Петра Испанского: «*habitus est qualitas difficile mobilis*» (обычай — это качество, с трудом изменяемое — *Summulae logicales*, цит. по: [Sermoneta 1969, p. 169]).

/58/

одного и того же города, т. е. дифференциацию социальную, как доказывает его пример: болонцы с Большой улицы (т. е. из центральных кварталов города) говорят иначе, чем жители предместья Св. Феликса (находящегося за городскими стенами) (I.IX.4).

Таким образом, объективными факторами языковых изменений (или различий) являются время, пространство и социальная структура (последняя эксплицитно не вводится в число факторов изменения языка), но все эти причины подчинены основной — непостоянству самого субъекта речи. Этим непостоянством — и языка, и его носителя — «были обеспокоены изобретатели грамматической науки» (*inventores grammaticae facultatis* — I.IX.11), т. е. это беспокойство и стало причиной «изобретения» грамматики, «поскольку грамматика есть не что иное, как учение о неизменном тождестве, не зависимом от разного времени и местности. С тех пор как с общего согласия многих народов (*de communi consensu multarum gentium*) выработаны ее правила, она очевидно не подчинена никакому произволу отдельных лиц и вследствие этого не может быть изменяемой. А придумали-то ее для того, чтобы из-за изменчивости речи, колеблющейся по произволу отдельных лиц, мы никоим образом ... не искажали установлений и деяний древних или тех, которые рождаются с нами разностью местожительства» (I.IX.11).

«Изобретение грамматики» трактуется обычно чуть ли не в духе теории «договорного происхождения языка» ([Шишмарев 1972, с. 81]; [Гуковская 1940, с. 9-10])⁸⁸. Момент сознательного и целенаправленного регулирования языка, безусловно, присутствует в

дантовской концепции грамматики, но само определение грамматики как учения о неизменном тождестве, не зависящем от разного времени и местности (*grammatica nihil aliud est quedam inalterabilis locutionis ydemptitas diversibus temporibus atque locis* — I.IX.11), — согласуется с основными научными положениями того времени, не имеющими ничего общего с «коллективным договором» и тем более с «изобретением» в современном смысле этого слова⁸⁹.

Трактат Данте о языке нельзя рассматривать вне общего культурного фона и вырывать из научного контекста его времени, тем

88 Видимо, на этом же терминологическом недоразумении основывается и замечание Ш. Тьюро о «полном бессилии ума» при попытках средневековой науки дать себе отчет о грамматических фактах языка: «В общем исходили из того принципа, что язык был изобретен грамматиками путем размышления» (цит. по: [Грошева 1985, с. 214], курсив наш. — Л. С.).

89 Напомним, что помимо того терминологического значения, которое приобрело слово «*inventio*» в лексиконе схоластов, оно продолжало оставаться одним из главных терминов традиционной риторики — «нахождение». Ср. Дантовы «поиски» языка в лесу диалектов, о которых пойдет речь впереди.

/59/

более что наука на исходе средневековья не знала узкой специализации и не стремилась к ней.

«Изобретение грамматики», по мысли Данте, положило конец естественному развитию латинского языка, придав ему стабильность и неизменность. Это язык, остановленный в своем движении, искусственный в том смысле, что он следует (т. е. подчиняется) искусству — *ars grammaticae*, — а не в смысле искусственно изобретенный язык. Латинский «грамотный» язык и «наш» язык (простонародный), который теперь существует как троякий (*triphario nunc existente nostro ydiomate*) или троезвучный (*trisonum*) представляют собой разные формы существования языка, его разные временные срезы (в том смысле, что «грамматика» появляется позже народной речи, а не в том кажущемся нам очевидным смысле, что романские языки — наследники латыни). Именно этот подход, по-видимому, и позволил Данте избежать распространенного (в XV в., см. ниже след. часть) представления о народном языке как об испорченной латыни. Народный язык, в силу его неустойчивости подвержен порче (*coruttibile*), чем в первую очередь и отличается от кодифицированной латыни, но из этого никак не следует (хотя некоторые исследователи и пытались приписать Данте такой взгляд), что народный итальянский язык является результатом порчи латинского языка.

Более того, подобный вывод решительно противоречил бы самому определению «грамматики» как языка неизменного: если «грамматика» не подвержена порче, то как могут путем «порчи» получиться из нее новые языки? И здесь необходимо коснуться одного важного заблуждения: отождествляя «грамматику» с латинским языком (что совершенно справедливо), последующие поколения стали читать соответствующие формулировки Данте как высказывания об известной нам исторической латыни, т. е. реально существовавшем языке, бытовавшем в античной Италии, Римской империи и раннем средневековье (см. например, [Paratore 1968, p. 136-253]. Данте, однако, ничего подобного не имел в виду; его латынь, «грамматика», была, в его представлении, во все времена своего существования языком «искусственным» (взгляд на латынь как на язык искусственный начал формироваться в IX в., в период так называемого Каролингского возрождения [Vineis, Maierù 1990]). Ситуация «диглоссии» была для него естественной, и он, конечно же, проецировал ее и на античную древность⁹⁰, не видя никакой разницы между обучением латинскому языку в античной школе и в его время (заметим, кстати, что современников

90 О дискуссиях в ренессансной Италии по поводу языковой ситуации Древнего Рима см. Приложение II.

/60/

Данте учили не только грамоте, но и сочинению латинских стихов) [Гаспаров 1986, с. 96; 1989, с. 88-89]. «Грамматика» для Данте не могла быть тем же языком, на котором некогда говорили римляне⁹¹. Это язык классических текстов и в первую очередь — язык поэтов. Данте не сомневается в том, что во времена Вергилия разговорным языком был некий свой *vulgare*⁹², решительно отличный от языка «Энеиды», иначе воскресшие «древнейшие жители Павии» (упоминавшиеся выше) «как и те, кто покинул эту жизнь тысячу лет тому назад» (Пир. I.V.9, см. выше с. 56), как раз должны были бы найти свой язык несколько не изменившимся. Указанные два места из VE и «Пира» с разной степенью убедительности, но все же несомненно указывают на такое понимание латыни⁹³.

Представление о латыни как о внеисторическом языке у Данте сочетается с идеей, которую он тщательно доказывает, обосновывает, подтверждает примерами, — идеей непрерывной изменчивости естественных людских языков. Нужно заметить, что такая трактовка происхождения романских языков, оставляющая письменную классическую латынь вне этого процесса, в сущности, хорошо согласуется со многими представлениями лингвистики новейшего времени. Термин «вульгарная латынь» был введен для объяснения романских языков, по сути дела, в хронологическом смысле (как «испорченная» поздняя латынь), однако если понимать его чисто «социолингвистически», то он был в каком-то отношении предвосхищен концепцией Данте. Столь же нетривиальными являются и мысли,

высказанные о непрерывной эволюции языка, и точка зрения на итальянские диалекты как на результат

91 Вопрос о концепции латыни и ее разговорного статуса неоднократно обсуждался в дантоведении в связи с диалогом между поэтом и его предком Каччагвидой (род. в 1091 г.): «Так он еще нежней заговорил / Но не наречьем нашим повсечасным» (*non con questa moderna favella — Paradiso XVI.33*). Несовременное наречье, на котором Каччагвида ведет свой рассказ о славном прошлом, характеризует былую флорентийскую речь, отличную от современной (испорченной), а не латинскую, как полагали старые комментаторы. См. об этом [Viscardi 1942].

92 Ср. ломбардскую реплику Вергилия (как следует из повтора его собеседника) в «Комедии» (Ад. XXII.33). См. [Pagliaro 1965].

93 Только как плод недоразумения можно рассматривать встретившееся в одной из недавних работ утверждение о том, что в средние века «латынь всегда (!) рассматривалась как высший вневременной и неизменяемый язык, Богом данный всему человечеству» [Чельшева 1994, с. 145] (курсив наш. — Л. С). В средние века отлично знали, что язык, который Бог дал всему человечеству, не был латынью, и на такой статус (в ущерб даже греческому и древнееврейскому?) латынь никогда не претендовала (если автору удалось где-то найти подобную мысль, было бы уместно назвать этот редкий источник). Сакральный статус латыни и ее универсальное использование в европейских культурах все же не дают основания для такой гиперболы.

/61/

дивергенции *vulgare latium*. Можно было бы даже сказать, что тот вывод, которым В. Пизани завершает свой очерк «Итальянские диалекты в историческом аспекте», напрашивается в качестве заключения к первой книге Дантова трактата VE: «Итальянские диалекты, как и всякая другая языковая форма, отражают историческую деятельность нации от самого отдаленного времени, когда она возникла под главенством Рима, до наших дней. Количество и разнообразие итальянских диалектов поистине грандиозно и превосходит все то, что имело место в других странах» [Пизани 1973, с. 8].

В контексте этих представлений о «вульгарном языке» и «грамматике» возникает вопрос, как нужно понимать слова Данте (при сравнении достоинств трех романских языков) о том, что «язык итальянский» (*vulgare Latinoium*)⁹⁴ «является более основанным на всеобщей грамматике» (I.X.2, перев. I.X.4), точнее, на грамматике, которая является общей (*quia magis vide(n)tur initi gramatice que comunis est*).

Оставляя в стороне вопрос (сам по себе весьма важный), что значит «*comunis est*» применительно к «грамматике» (идет ли речь о «всеобщем языке»⁹⁵ или об «универсальной структуре»), нам нужно выяснить, какая же здесь предлагается трактовка отношений итальянского и латинского языков. Традиционное понимание компактно (и полемически) формулирует М. Корти: «...обычно говорится, что для Данте народный язык в большей степени опирается и более похож на тот регулярный язык, каковым является латинский, — общая основа трехчастного языка» [Corti 1982, p. 62]. Подтверждением этого взгляда как будто служит пассаж в начале той же главы, где Данте «не осмеливается отдать предпочтение» ни одной из «ветвей» «нашего языка», но тут же делает оговорку: «если только не принять во внимание, что основатели грамматики (*positores gramaticae*)⁹⁶ определили наречием утвердительно слово *sic*, что, видимо, дает известное преимущество итальянцам (*Ytalis*), говорящим «си»» (I.X.1). Однако, как мы пытались показать, нет основания утверждать, что Данте видел в латыни «основу»

94 Относительно употребления слова «латинский» в значении ‘итальянский’ (и соответственно «латыни» вместо «итальянцы», как в данном примере, где Данте называет итальянский «народным [языком] латинов») один из лучших филологов XVI в., прекрасный знаток староитальянского языка В. Боргини отмечает: «Заметь, что *Latino* (латинский) у наших старых авторов значит *Italiano* (итальянский), и в этом смысле его неоднократно употребляет Данте в своей Комедии, а также Боккаччо в новелле о мессере Торелло» (Декамерон X, IX, 16) [Woodhous 1971, p. 307].

95 О концепции «общего языка» см. [Pagliaro 1966].

96 В терминологии этого времени *positores grammaticae*, т. е. собственно грамматисты, противопоставлялись теоретикам языка — *inventores grammaticae*. Данте пользуется обоими терминами. Ср. I.X.11 *inventores gramaticae facultatis*.

/62/

романских языков; близость современного языка к латинскому⁹⁷ может, конечно, льстить самолюбию итальянца, но никак не является бесспорным положительным признаком для Данте, столь ясно понимавшего самоценность языков (как об этом свидетельствует «Пир»). Так, среди итальянских диалектов особому его осуждению подвергается наречие сардинцев (т. е. сардинский язык), ибо, кажется, только у них нет собственной народной речи (*soli sine proprio vulgare esse videntur*) и они подражают «грамматике» (т. е. латыни), как обезьяны людям (*gramaticam tanquam simie homines imitantes*), «ведь они говорят *domus nova* и *dominus meus*» (I.XI.7). Более правдоподобной в этом отношении представляется другая традиционная трактовка, согласно которой не итальянский близок к латыни, а латынь к итальянскому, т. е. кодификация «грамматики» опиралась на диалекты Италии в большей мере, чем на другие романские языки. Такая концепция, которой позже придерживались гуманисты (латинский язык как кодифицированная форма римской речи), скорее

согласуется с описанным выше представлением о «грамматике», но никак не вытекает из самого дантовского текста, где все-таки говорится об опоре итальянского на «грамматику», а не наоборот.

Важные уточнения внесла в трактовку этого места М. Корти: она, во-первых, отвергает тождество «грамматика=латынь», традиционно приносимое и в это употребление слова «грамматика», и утверждает, что это слово выступает здесь как чисто технический термин, во-вторых, она, на наш взгляд, справедливо считает, что речь идет не об итальянском языке вообще (как в рассуждении о *si* и *sic*), а специально о поэтическом языке. Действительно, сопоставление достоинств трех романских языков основывается, за вычетом рассматриваемого аргумента, на сопоставлении текстов, созданных на этих языках; из них итальянский «отстаивает свое первенство двумя преимуществами: во-первых, тем, что сочинители наиболее сладостных и утонченных стихов народной речью (*dulcius subtiliusque poetati vulgariter*) — его семейные и домашние (*familiares et domestici sui*)⁹⁸, как Чино да Пистойя и его друг» [т. е. сам Данте], во-вторых, тем, что он, видимо, в большей степени опирается на грамматику (*magis videtur initi gramatice* — Marigo, I.X.4)⁹⁹. Последнюю часть можно счесть неким дополнением,

97 Таким образом (т. е. как указание на архаичность итальянского языка) трактует это место, например, [Шишмарев 1972, с. 81-82].

98 Ср. тему «дружбы с языком» в «Пире».

99 Известный итальянский лингвист Б. Террачини использует эту формулировку Данте в качестве заглавия своей статьи «*Quia magis videtur inniti grammaticae*», в которой обсуждается «консервативный» характер итальянского языка, т. е. его большая близость к латинскому по сравнению с другими романскими языками [Terracini 1952].

/63/

выходящим за рамки равноправного сопоставления языков на основе их поэзии, или же, в согласии с трактовкой М. Корти, продолжением того же довода. Дополнительным аргументом могут служить текстологические соображения. Русский перевод, как и большинство других, сделан в соответствии с традиционным чтением, которому следует также и Мариго, однако Менгальдо дает другое чтение: *quia magis videntur* (Mengaldo, I.X.2) вместо *videtur*, т. е. с множественным числом сказуемого вместо единственного¹⁰⁰. В этом случае глагол может относиться только к *poetati vulgariter*, т. е. к поэтам, которые сочиняют на итальянском, и это именно они «опираются на грамматику»¹⁰¹.

При таком понимании «грамматика», действительно, не может быть просто синонимом «латыни», а является прежде всего системой правил, установлений, которые всеобщы и которым нужно следовать и обучаться. Итальянские поэты — лучшие их представители — осваивают правила искусства (*ars*), а не только следуют обычаю, как другие стихотворцы на *vulgare* (или просто носители народных языков)¹⁰².

Именно такая ориентация представляется Данте не только достойнейшей, но и необходимой для поэта, даже в том смысле, что самое право именоваться «поэтом» отнюдь не бесспорно для стихотворца, пишущего на *vulgare*, и Данте во второй книге трактата специально обосновывает возможность применения к ним слова «поэт» и тем самым сопоставления с латинскими и греческими писателями¹⁰³. Эта аргументация начата еще в «Новой жизни» в ходе оправдания некоторых *licentiae poeticae*. Употребив слова *poeti volgari*, Данте тут же поясняет: ибо «говорить рифмами на языке народном (*dire per rima in volgare*) — это почти то же, что сочинять стихи (*dire per versi*) по-латыни», если принять во внимание соотношение между латынью и народным языком (букв, в соответствии

100 Чтение *videtur* восходит к редакции Пио Райна 1896г. (а в конечном счете к *editio princeps* 1577г. Я. Корбинелли [Mengaldo 1978, p. 131-132 e п.21]). В берлинском списке В (предположительно ближайшем к протографу) это слово вообще отсутствует, в двух других списках G и T стоит *videntur* (мн. число) [Grayson 1965, p. 61-65]. М. Корти ссылается на новое издание Менгальдо (1979), но в ее цитате — ед. число: *videtur*, что, по-видимому, является просто опечаткой.

101 Старый перевод Вл. Шкловского отражает именно это согласование: «Наконец, третий язык — итальянский, утверждает, что он выше других по двум преимуществам: первое то, что те, кто писали наиболее изящно и утонченно, являются его сынами и близкими ему; таковы Чино да Пистойя и его друг, во-вторых, итальянцы более знакомы с грамматикой, знание которой у них всеобщее» [Данте Алигьери 1922, с. 23].

102 Ср., например, «размер канцон (*modum cantionum*), который многие применяют скорее случайно (*casu*), чем по правилам искусства» (*arte* — II.IV.1).

103 О терминах «поэзия» и «поэт» у Данте см. [Schiaffoni 1958].

/64/

с некоторыми пропорциями, соотношениями — *secondo alcuna proporzione* — *Vita nuova*. XXV.[4], пер. А. Эфроса). Далее параллелизм *poeti* — *poeti volgari* или *poeti* — *rimatori* проходит по всей 25 главе «Новой жизни»: «И вот, так как поэтам дозволена большая

вольность речи (*maggior licenza di parlare*), нежели сочинителям прозаическим, а слагатели рифм суть не иное что, как поэты, говорящие на языке народном (*poeti volgari*), то достойно и разумно (*degnò e raggiònevole*), чтобы им была дозволена большая вольность речи, чем другим сочинителям на народном языке: поэтому ежели какая-либо риторическая фигура или украшение дозволены поэтам (*poeti*), то они дозволены и слагателям рифм» (*Vita nuova XXV.[7]*).

В позднейшем трактате, как уже говорилось, Данте возвращается к этой проблеме и, в частности, предлагает «этимологическое» толкование термина *poeta* (от *poita* ‘сделанный, обработанный’)¹⁰⁴: «И вот, обдумывая сказанное, мы напоминаем, что неоднократно называли слагателей стихов на народной речи (*qui vulgariter versificantur*) поэтами (*poetas*); мы дерзнули на это, без сомнения, разумно (*rationabiliter*), потому что они, конечно, поэты, если рассудить, что такое поэзия (*si poesim recte consideremus* — II.IV.2), — она не что иное, как замысел, облеченный в риторику и музыку (*fictio rethorica musicaque poita* — точнее, вымысел, обработанный риторикой и музыкой. — Л. С.). Однако отличие их от великих и правильных поэтов (*a magnis poetis, hoc est regularibus*) в том, что великие творят по правилам речи и искусства (*sermone et arte regulari poetati sunt*), они же — как придется (*casu*)... Потому-то, чем ближе мы следуем великим поэтам, тем правильнее сочиняем стихи (*quantum illos proximius imitemur tantum rectius poetemur*). Ради этого, принимаясь за ученый труд, нам следует равняться по законам их ученой поэтики» (*doctrinata eorum poetria* — II. IV. 3). Чтобы быть поэтом, необходим не только и не столько талант (Данте специально обличает невежд, полагающихся на «одно лишь дарование», т. е. пишущих «как придется», «случайно», на слух, а не по правилам), — для этого необходимо изучение правил (*ars*) и образцов, — однако и система правил, и язык авторитетных поэтических образцов в равной мере могут быть названы «*grammatica*».

Именно в этой теме следования правилам (а не «обычаю», узусу, как свойственно дурным поэтам и самим народным языкам в

¹⁰¹ По существу, этимология вполне достоверная; как отмечает А. Скъяффини [Schiaffini 1958, p. 383], *poita* от *poire* представляет собой латинизированную форму греч. *ποιεῖν* ‘делать, производить, изготовлять’, от которого и произошло *ποίησις* и *ποιητής*.

их «необработанном» состоянии) и намечается возможность той «стабильности», которой, согласно «Пиру», лишена народная речь (т. е. начинается то «опровержение» преимуществ латыни, о котором мы говорили, анализируя «Пир»). Поэтому последний аргумент в I.X.2 Данте считает «самым веским» (*gravissimum argumentum*) для «рационально мыслящих» (*rationabiliter insipientibus* — I.X.2, — а не просто «рассудительных», как мы читаем в русском переводе — I.X.4)¹⁰⁵, определяя тем самым адресатов своего трактата.

Из всего сказанного следует весьма важный вывод: десятая глава, занимающая срединное положение в первой книге трактата, представляет собой некий поворотный пункт, здесь начинает меняться сам предмет трактата. Вместе с переходом от самых общих вопросов происхождения языка, истории и географии европейских языков к ближайшему романскому и (в той же главе) итальянскому материалу происходит и сопряжение лингвистической проблематики с поэтической — которая станет основой во второй книге трактата. Вопрос о соотношении языка и поэзии, лингвистики и поэтики (риторики) у Данте нам еще придется рассматривать, здесь же нужно констатировать, что, дойдя до романских языков, Данте вводит тему поэзии на этих языках, так что проблемы языка и поэзии все время переплетаются. В особенности существенна роль поэтических текстов в тех случаях, когда речь идет об оценке языков.

В отличие от чисто оценочной постановки вопроса в первом трактате «Пира», в своих общих рассуждениях о языке и языках Данте полностью избегает каких бы то ни было оценок (кроме таких очевидных, как противопоставление первичного языка испорченным языкам после Столпотворения). Однако в X главе он, хотя и «с робостью и нерешительностью», начинает именно со сравнительной оценки языков, и «доказательствами» для достоинств каждой «ветви» этого «троякого языка» служат именно тексты на этом языке: старофранцузские эпические произведения (известные Данте в прозаических вариантах) — для *lingua oli* и первые поэты на *vulgare*, т. е. трубадуры, для *lingua oc* (I.X.2, перев. I.X.2-3). Аргументы в пользу итальянского уже разбирались выше.

Такой критерий оценки языка связан, по-видимому, не только с задачами самого трактата, но и с общими аксиологическими представлениями Данте. В «Пире» (как раз в связи с определением

105 Этой апелляции придает большое значение М. Корти (в контексте своей аргументации «технического» значения термина «грамматика») см. [Corti 1982, p. 62].

/66/

понятия «благородства», столь существенного для лингвистической терминологии «Пира») он пишет: «...поскольку во всех вещах, принадлежащих одному роду (*d'una spezie*) ... невозможно определить их высшее совершенство (*ottima perfezione*) на основании существенных признаков (*principi essenziali*), постольку совершенство это надлежит определять и познавать на основании проявлений этих признаков (*per li loro effetti*). И потому, когда в Евангелии от св. Матфея Христос говорит: «Берегитесь лжепророков», там написано: «по плодам их узнаете их»¹⁰⁶. И, следуя правильному пути, надо найти искомое определение по его плодам» (Пир. IV.XVI.9). «Проявления» или скорее даже «результаты» (*effetti*), «плоды» языка — есть поэзия на этом языке.

Проблема оценки становится основной в следующих главах, посвященных диалектам Италии.

Эти заключительные главы первой книги трактата (I.X-XIX), где дается синхронный обзор «лингвистической ситуации» в Италии и складывается понятие *vulgare illustre* (более известное в итальянском варианте — *volgare illustre*), представляют собой наиболее известную часть Дантова учения о языке. Начиная с XVI в., когда трактат был переведен на итальянский язык (1529) и стал достоянием итальянской культуры (что было особенно существенно в той ситуации, когда господствующее направление мысли — гуманизм первой половины века отличался как раз установкой на латинизацию культуры), а имя автора «Божественной комедии» встало в один ряд с именами Гомера и Вергилия, именно эти главы привлекали наибольшее внимание, широко обсуждались и комментировались — вплоть до нашего времени — и даже выходили отдельными изданиями¹⁰⁷. «Доктрина» Данте была, таким образом, искусственно замкнута на узкую проблематику итальянского литературного языка. Трактату, как справедливо заметил А. Пальяро [Pagliaro 1956, p. 218], не повезло из-за того, что он оказался втянутым в полемику о языке. А. Мандзони, подводя итоги этой полемики в середине XIX в., впал в противоположную крайность, объявив концепцию Данте чистой абстракцией, не имеющей никакого отношения ни к итальянскому, ни к какому-либо другому языку [Manzoni 1868, p. 30].

Между тем обе крайности явно искажают картину. Трактат Данте не дает прямых рекомендаций по выбору литературного языка, в том смысле как это понимали участники полемики о *questione*

106 Лат.: *a fructibus eorum cognoscetis eos* (Mt 7: 15-16), в совр. ит. переводе: *Voi li riconoscerete dai loro frutti*.

107 См., например, такое издание С. Пеллегрини: *Dante e il volgare illustre italiano* (Testo del «*De vulgari eloquentia*», libro I, capp. 10-19) / A cura di S. Pellegrini. Pisa, 1946.

/67/

della lingua. В то же время никак нельзя согласиться и с утверждением о чисто абстрактном характере этого трактата: он — во всяком случае заключительные главы первой книги — целиком погружен в реальную языковую ситуацию Италии XIV в. и его практические выводы адресованы итальянским поэтам-современникам. Именно эта описательная часть трактата, основанная, как уже отмечалось, на собственных наблюдениях, принципиально отличает его от всей средневековой лингвистики, обращенной, как правило, к глобальным проблемам. То, что Данте дал первый в истории языкознания образец диалектологического

описания (включая и территориальные, и социальные диалекты), повторяется едва ли не во всех работах по истории лингвистики и специально о трактате Данте. Однако, говоря об этом трактате, действительно невозможно не повторить еще раз эту традиционную формулировку, потому что, читая Данте, невольно вновь и вновь поражаешься этой последовательной дескриптивной картине (хотя бы и отягченной оценочными комментариями), ее полноте и наглядности, лингвистической интуиции, на много веков предвосхитившей соответствующие научные установки¹⁰⁸.

2.5. Описанию и оценке разновидностей италийской народной речи (*vulgare Latium*) посвящены X-XV главы первой книги трактата. В качестве основы географического разделения диалектов Данте выбирает естественный рубеж — Апеннинский хребет, тянущийся вдоль всего полуострова с севера на юг и разделяющий всю Италию на две части, западную и восточную. Данте называет диалекты этих областей языками правой и левой Италии, причем, следуя традиции старых географических описаний, под «правой» частью он имеет в виду западную, а под «левой» — восточную: «И на той и на другой стороне, и в областях, к ним прилегающих, языки людские отличны» (*lingue hominum variantur* — I.X.6, перев. I.X.8).

То обстоятельство, что Данте связывает языковые (диалектные) различия с природными границами, было оценено уже основателем итальянской диалектологии (через пять веков после Данте) Г. И. Асколи в его классической работе «Диалектная Италия». Эту особенность Дантова трактата Асколи приводил как несомненное достоинство первого опыта диалектологического описания Италии [Ascoli 1882-1885, p. 117]. К западной, т. е. «правой» части, Данте относит часть Апулии, Рим, Сполетское герцогство, Тоскану, Генуэзскую марку, а также острова Тирренского моря — Сицилию и Сардинию. Равное количество областей — числом семь —

¹⁰⁸ Современные данные, позволяющие реконструировать диалектные различия в Италии XIII в., подтверждают это. См. [Vidossi 1977].

/68/

он выделяет и по левую сторону Апеннин: другая часть Апулии, Анконская марка, Романья, Тревизская марка, Венеция, Фриули и Истрия. «Таким образом, одна только Италия разнится, очевидно, по крайней мере четырнадцатью наречиями» (I.X.7, перев. I.X.9), ибо языки жителей этих областей отличаются друг от друга: «...так язык сицилийский (*lingua Siculorum*) отличается от апулийского, апулийский от римского, римский от сполетского, а этот от тосканского, тосканский от генуэзского, генуэзский от сардинского, равно как калабрийский от анконского, этот от романьольского, романьольский от ломбардского, ломбардский от тревизского и венецианского, а этот от аквилейского и тот от истрийского» (I.X.6, перев. I.X.8). По этой классификации левая и правая стороны Италии оказываются симметричными друг другу, включая — каждая — по семь диалектов. Западную группу,

как следует из цитированной формулировки, составляют сицилийский, апулийский, римский, сполетский, тосканский, генуэзский и сардинский диалекты, восточную — калабрийский, анконский, романьольский, ломбардский, тревизский вкупе с венецианским, аквилейский (диалект Фриули) и истрийский.

Внутри этих провинциальных, т. е. принадлежащих целым провинциям языков также наблюдаются различия, как, «например, в Тоскане между сиенским и аретинским, в Ломбардии между феррарским и пьяченским; да и в одном и том же городе мы обнаруживаем некоторые различия» (I.X.7, перев. I.X.9). Эти последние слова, как уже отмечалось, вводят тему тех языковых различий, которые через несколько веков получают название социальных диалектов (примеры, приводимые Данте, уже цитировались выше). При этом Данте отчетливо осознает соотносительную значимость признаков, их иерархию, как это можно видеть из уже цитировавшейся формулировки: «Поэтому, если бы мы захотели подсчитать основные (*primas*), второстепенные (*secundarias*) и третьестепенные (*subsecundarias*) различия между наречиями Италии, то и в этом крошечном закоулке мира пришлось бы дойти не то что до тысячи, но до еще большего множества различий» (точнее, «разновидностей» — *variationes* — I.X.7, перев. I.X.9). По всей видимости, под первичными различиями понимаются особенности языков целых провинций (перечисленные выше четырнадцать наречий), под «вторичными» или «второстепенными» лингвистические различия внутри провинций, а «третьестепенные» охватывают локальные вариации внутри городов (язык центра и предместья и т. п., т. е., по сути дела, «социальные диалекты»)109.

109 В этой связи надо упомянуть и противопоставление городских и сельских диалектов: «отбрасываем мы и горные и деревенские говоры, как, например, казентинские и фраттские» (*Casentinenses et Fractenses*), т. е. сельские говоры близ Флоренции и недалеко от Перуджи, которые своим сильным акцентом (или «звучанием», а может быть, «неверными ударениями» — *accentus enormitate*) резко отличаются от речи «горожан», точнее, «срединных городов» (*mediastinis civibus* — I.XI.6) — центров соответствующих провинций. Это противопоставление отмечалось еще римскими авторами. Для того периода, когда литература на латинском языке создавалась только в Риме и не имела других центров, понятие *urbanitas*, выдвинутое в качестве языковой нормы, подразумевало соответствие речи коренного населения Рима в противопоставлении к *rusticitas* — особенностям сельских говоров Лациума, и к *peregrinitas* — диалектными особенностям других латинян [Тройский 1953, с. 184]; об истории понятия *urbanitas* в латинской культуре см. [Мажуга 1986].110 Они подробно изложены в [Шишмарев 1972, с. 82-86].

/69/

Следующие пять глав (XI-XV) посвящены конкретному описанию и оценке итальянских диалектов. Краткие и часто язвительные характеристики отдельных диалектов оказываются при этом очень емкими и точными. Данте обобщает собственные наблюдения, в основном над фонетическими особенностями известных ему диалектов, и часто дополняет или даже заменяет такую характеристику примерами диалектной речи или же пародиями на нее —

фольклорными дразнилками или литературными пародиями, имитирующими особенности произношения данной провинции. Эти пародийные тексты в контексте анализа лингвистической ситуации Италии противопоставлены другим поэтическим текстам, которые Данте цитирует для характеристики диалектов, имеющих свою поэтическую традицию.

Для целей настоящего раздела было бы избыточно пересказывать конкретные наблюдения Данте над диалектами Италии¹¹⁰, упомянем только два наиболее интересных примера, демонстрирующих замечательную интуицию и тонкое внимание к эмпирическому материалу. Первое такое наблюдение — это уже цитировавшееся обособление сардинского языка: «...отбросим также сардинцев как не италийцев (*non Latii*), но которых, видимо, приходится причислять к италийцам», поскольку у них нет своего *vulgate*, а вместо этого они «подражают грамматике», т. е. латыни. Здесь уловлено не только особое положение сардинского языка (отнюдь не диалекта итальянского), но и его особый архаизм (хотя сам Данте, как уже говорилось, не воспринимал это в терминах «архаичности»), который в приводимых примерах («ведь они говорят *domus nova* и *dominus meus*») выражается в сохранении конечного *-s* и тем самым — облика латинских падежных окончаний.

Второй пример — это вполне осознанное выделение маргинальных зон и даже смешанных диалектов: «...ни у кого, мы полагаем, нет сомнений относительно прочих окраинных городов Италии (*in extremis Ytalie civitatibus*)... Города Тренто и Турин и Александрия

/70/

расположены настолько близко к окраинам Италии (*metis Ytalie*), что у них не может быть чистых наречий» (*puras loquelas* — I.XV.7, перев. I.XV.7-8), если бы даже у них была «прекраснейшая речь» (*pulcherrimum*), «то из-за смешения с чужими наречиями (*alioqum commixtionem*) ее нельзя было бы признать подлинно италийской» (*vere Latium* — I.XV.7). Любопытно, что в другом месте Данте даже дает конкретный пример такого смешения, утверждая, что «гортанность, свойственная ломбардцам ... осталась у тамошних уроженцев от смешения с пришлыми лангобардами» (I.XV.3). Выделение этих маргинальных зон сближает описание Данте с «концентрической классификацией» итальянских диалектов¹¹¹ — первой их научной классификацией, предложенной Асколи [Ascoli 1882-1885].

При оценке действительно поражающего новаторства диалектологической части трактата Данте следует все же помнить, что сам поэт отнюдь не ставил себе цели научной классификации или даже описания, его цели были прямо противоположны позднейшим научным установкам романистики и диалектологии. При всей очевидности этого хотелось бы лишний раз подчеркнуть адекватность метода описания тем эксплицитно сформулированным целям, которые и заставили Данте обратиться к лингвистическим проблемам. В отличие от «позитивной» установки диалектологов, для которых диалект представляет самоценный интерес, Данте описывает диалекты, чтобы их «отвергнуть». Его задача — не описательная, а оценочная, и состоит она как раз в преодолении диалектной

дробности, в искоренении диалектов из области народного красноречия, т. е. словесности на итальянском *vulgare*. Цель трактата найти один язык, который представлял бы не сумму диалектов и не компромисс, а органическое целое, внятное для всех носителей итальянских диалектов, но, как показывает ход рассуждений Данте, отнюдь не тождественное какому-нибудь из них. Более того, этой цели подчинен и «метаязык» трактата и, в частности, проходящая через все «диалектологические главы» метафора поисков зверя (пантеры — ср. начальную сцену «Божественной комедии») в лесу итальянских наречий (и вытекающая из нее метафора «расчистки» тропы в этом лесу). Дело в том, что, завершив эмпирический обзор диалектов, Данте констатирует, что среди них, т. е. на эмпирическом уровне невозможно найти искомый язык, и предлагает искать его «более рациональным путем» (*rationabilius*, а не «более разумно»), как сказано в русском переводе — I.XVI.1), т.е., говоря современным языком, он признает,

111 Концентричность присуща и описанию Данте: он начинает с Рима (I.XI.2) и заканчивает уже отмеченными маргинальными зонами (I.XV.7, перев.: I.XV.7-8).

/71/

что искомый язык представляет собой не эмпирический факт, а «инвариант», «конструкт»¹¹². Можно предполагать, что для Данте, воспитанного на традиции «типологии», метафорический план изложения как бы замещает собой уровень конструктов, абстракции или — формулируя то же самое применительно к организации трактата — сквозная метафора, организующая эмпирическое рассмотрение наличного материала диалектов, подготавливает переход на следующий, более абстрактный, т. е. теоретический, уровень в главах, идущих после этой эмпирической части¹¹³.

Однако этот более высокий уровень появится позже, в «эмпирических» главах он только предвосхищается метафорой, а эксплицитные критерии оценки здесь ограничиваются категориями эстетики и этики, которые вводятся с самого начала. «Расчищая лес» диалектов от «спутанных кустов и терновника» (I.XI.1), он не случайно начинает с Рима, ссылаясь на причины внелингвистические: «...раз римляне полагают, что их надо ставить впереди всех, мы ... поставим их в этом искоренении на первое место» (I.XI.2). Речь римлян вообще не *vulgare*, а *tristiloquium* (гносноязычие), самая безобразная из всех (*italorum vulgarium omnium esse turpissimum*)¹¹⁴, и тут Данте вновь переходит к «экстралингвистическим» соображениям, говоря, что «это неудивительно», ибо уродством своих нравов и обычаев (*morum habitumque deformitate*)¹¹⁵ «они явно отвратительнее всех остальных». Несомненно, именно этическое неприятие римлян диктует особо отрицательную оценку их языка, но подтверждается это языковым примером — грубым (с точки зрения языкового этикета) обращением на

112 На эту важную особенность дантовской классификации обратил внимание профессор социологии Гейдельбергского университета А. Рюстов, которого поразило сходство метода с некоторыми современными типологическими теориями гуманитарных наук, в частности с понятием «идеального типа» у Макса Вебера, см. [Spitzer 1976]. О категории «идеального типа» у М. Вебера см., например, [Гайденко 1990, с. 9].

113 Это тем более вероятно, что «охотничья метафора», видимо, отсылает к «Никомаховой этике» Аристотеля (сочинению неоднократно упоминаемому и обсуждаемому в дантовском «Пире»): «Нужно стараться «преследовать» каждое начало по тому пути, который отвечает его природе, и позаботиться о правильном выделении [начал]: ведь начала имеют огромное влияние на все последующее» [Аристотель 1983, т. IV, с. 65]. Глагол «преследовать» восходит к «охотничьей метафоре» в «Гезетте» (187e) и в «Политике» (290) Платона. См. там же, с. 698. О функции метафоры в VE и «пантеры», в частности, см. [Liver 1992].

114 Слово *turpis* также имеет свой этический аспект — значение ‘постыдный, позорный, гнусный’, например, у Цицерона и Сенеки. Это значение в истории философии было подчеркнуто Гоббсом, понимавшим *turpe* как «зло в обещании». См. [Арутюнова 1988, с. 64].

115 Об этом сочетании см. выше, с. 10 прим. 2.

/72/

«ты» к господину: «Messure, quinto dici?» (I.XI.2)116. Речь «аквилейцев и истрийцев, резким голосом изрыгающих *Ces fas-tu?*» (I.XI.6, перев. I. XI. 5), отвергается, как мы видим, совсем по другой причине. Выговор жителей окраинных областей Италии воспринимается (на слух итальянца) как неблагозвучный (ср. ит.: *che fai?* — что [ты] делаешь?), не соответствующий привычному фонетическому облику слова, в котором не бывает других окончаний, кроме гласных (и сонантов).

Эстетические критерии, однако, не сводятся к оценке благозвучия подобных примеров. Как и в случае с романскими языками, Данте оценивает диалекты — когда есть такая возможность — по поэтическим текстам; но если языки оцениваются по их высшим поэтическим достижениям, которые «свидетельствуют в пользу» своих языков, то для диалектов сравнение носит иной характер»117. Не случайно Данте начинает иллюстрировать свои оценки поэтическими примерами именно пародий и «дразнилок», подчеркнув, что «в насмешку над этими тремя племенами» (т. е. римлянами, сполетанцами и жителями анконской марки) придумано множество канцон. Он цитирует начало одной из них «правильно и отлично сложенной» неким Кастрой, флорентийцем (I.XI.3)118. После этого другая, анонимная, пародия служит единственным аргументом для отбрасывания миланцев и бергамасцев (I.XI.4). Сложнее обстоит дело с теми наречиями, на которых уже

существовала поэтическая традиция. Но и в этих случаях поэтические тексты не служат «оправданию» своих наречий. Так, строка из знаменитого «контраста» Чело д'Алькамо *Tragemì d'este focola*, действительно написанного в духе сицилийской народной песни, выступает, в сущности, не на правах поэтического примера, а как образец диалектной речи, подтверждающий ее низкую оценку: «...если нам принять сицилийскую народную речь, следуя речи тамошних рядовых уроженцев, по которой, очевидно, и надо о ней судить, она ни в коей мере не достойна чести предпочтения, потому что течет довольно-таки вяло, как, например, тут», — далее следует пример из Чело (I.XII.6). Точно так же, утверждая, что тосканцы «в своем несносном безрассудстве явно притязают

116 О борьбе итальянских гуманистов за восстановление древнеримской формы обращения на «ты» см. с. 180 прим. 75.

1.7 На анализе диалектных примеров (I.XI-XIV) и их источников специально останавливается П. Менгальдо в работе «О новом комментарии к *De vulgari eloquentia*» [Mengaldo 1978, p. 150-156].

1.8 Текст канцоны, комментарий и перевод см. [Camilli 1944]. Литературные пародии на диалект, появившиеся в XIII в., свидетельствуют о том, что диалектные расхождения в Италии сравнительно рано (во Франции такие пародии появляются в конце XV в.) стали фактом самосознания [Чельшева 1990, с. 57].

/73/

на честь блистательной народной речи» (*titulum vulgaris illustris* — I.XIII.1) и «больше других безумствуют в этом опьянении» (I.XIII.2, перев. I.XIII.1), причем не только простой народ, но и многие «именитые мужи», он опровергает их притязания многочисленными примерами местных оборотов речи сиенцев, пизанцев, аретинцев и др. (в изд. Marigo они еще не были достаточным образом прокомментированы). Особенно важно, что, перечислив тех «именитых мужей», которые отстаивают первенство тосканской речи, Данте утверждает, что при тщательном разборе «их стихи ... окажутся не правильными (*non curialia*), но написанными исключительно на городском наречии» (*municipalia* — I.XIII.1).

На современный взгляд, в этой аргументации присутствует порочный круг: чтоб доказать, что тосканское наречие плохо, утверждается, что стихи тосканцев плохи, потому что они написаны на тосканском наречии. Но Данте для всех трех поэтических школ (сицилийской, тосканской и болонской) показывает, что высокая поэзия непременно отрывается от местной речи, потому-то лучшие образцы вовсе не доказывают совершенство своего наречия, а как раз наоборот его опровергают. «Многие тамошние [сицилийские] мастера пели возвышенно» (I.XII.2), но это не связано с особенностями сицилийского наречия: в силу исторических условий (положения двора Фридриха и Манфреда) «все обнародованное

нашими предшественниками на народной речи стало называться сицилийским», творения же самих сицилийцев могут быть и дурными (т. е. слишком связанными с диалектом), как показывает пример Чело. Если же нам принять сицилийскую речь по тому, как она «истекает из уст виднейших сицилийцев, как можно судить по вышеприведенным канцонам, то она ничем не отличается от наиболее похвальной» (I.XII.6), и «хотя уроженцы Апулии говорят вообще непристойно, некоторые выдающиеся среди них люди выражались изящно, применяя в своих канцонах благородно отделанные слова» (I.XII.8). Из этого и делается основной вывод: «ни сицилийская, ни апулийская народная речь (*nes siculum nes arulum [vulgare]*) не оказываются прекраснейшей в Италии, так как мы показали, что тамошние мастера слова отступали от собственной своей речи» (*eloquentes indigenas ... a proprio divertisse — I.XII.9*). Точно так же, «хотя все почти тосканцы коснеют в своем гнусноязычии (*turpiloquio*) ... некоторые из них постигли высоту народной речи, (*vulgaris excellentiam — I.XIII.4*, перев. I.XIII.3) — это Гвидо Кавальканти, Лапо Джанни и еще один» (т. е. Данте), флорентийцы, а также Чино да Пистойя. Вывод делается тот же: «Итак, если мы исследуем тосканские говоры и взвесим, в какой степени высокочтимые люди отклонялись от своего собственного, не останется сомнений, что искомая нами народная речь (*vulgare*

/74/

quod querimus) не та, какой держится тосканский народ» (*populus Tuscanorum — I.XIII.5*, перев. I.XIII.4)119.

Особенно показательна для позиции Данте характеристика болонского наречия, которое он оценивает наиболее благожелательно: «пожалуй, не очень заблуждаются считающие болонцев говорящими красивейшей речью» (*pulciori locutione loquentes — I.XV.2*)120. Достоинства речи болонцев объясняются влиянием соседних диалектов121, так что речь их «путем смешения противоположностей (*per commixtionem oppositorum*) ... остается уравновешенной до похвальной приятности» (*ad laudabilem suavitatem ... temperata — I.XV.3*)122. Эти соображения, как нетрудно видеть, являются не основанием оценки, а, скорее, объяснением того, откуда берутся достоинства (отсутствующие у других наречий), признаваемые на совершенно других основаниях, — положительные

119 Те, кто пытался найти в трактате Данте указание на диалектную основу литературного языка, начиная с Возрождения критиковали его за отрицание тосканской, а точнее, даже флорентийской основы итальянского. Так, Н. Макьявелли в своем полемическом сочинении *Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua* (между 1512-1523) недоумеваает, почему Данте старается доказать, что язык, на котором он писал, не был флорентийским, и находит объяснение этому в личной обиде изгнанника [Machiavelli 1976, 773a. 25-30].

120 Нужно отметить, что Данте, начиная с перечня в X гл., предпочитает пользоваться не названиями наречий (ломбардское, болонское), а именами местностей и

— даже чаще — их обитателей. Поскольку одним из первых проявлений этой тенденции является цитированный отзыв о римлянах и их языке, можно полагать, что в этом словоупотреблении также отражается связь лингвистических и этических критериев. Кроме того, как видно из только что цитировавшихся определений, для языка отнюдь не безразлично, кто именно им пользуется даже из числа его урожденных носителей. Впрочем, есть и обратная закономерность: «Среди феррарцев, моденцев и реджийцев мы не находим ни одного стихотворца, ибо по привычке к своей гортанности они никак не могут усвоить придворную (*aulicum*) народную речь, не придавая ей некоторой жесткости» (I.XV.4).

121 Данте подробно объясняет, какие именно качества болонцы «перенимают» из окружающих диалектов — мягкость (*lenitas atque mollities*) от имолийцев и некоторую гортанность (*garrulitas*) у феррарцев и моденцев. Таким образом, «смешение» (*commixtio*) не является абсолютно отрицательной чертой (напомним, что это «смешение» только по-русски омонимично библейскому «смешению языков» — *confusio*). Данте четко различает влияние (*commixtio aliorum*), испытываемое маргинальными диалектами, и смешение противоположностей (*commixtio oppositorum*) внутри италийского континуума (обе эти формулировки находятся в одной и той же главе — I.XV.3; I.XV.9, перев. I.XV.8).

122 Идея «уравновешенности» путем «смешения противоположностей» восходит к тому же кругу аристотелевских (и более древних) представлений о середине, которые мы обсуждали выше в связи с ролью «центра» в истории языка. Отметим также, что в религиозной философской литературе главная христианская добродетель Любовь (противостоящая главному смертному греху — гордыне) часто определяется как гармоническое единение противоположностей (*coincidentia oppositorum*) [Вышеславцев 1922, с. 22].

/75/

оценки Данте дает именно тем диалектам, которые обладают сложившимися и признанными поэтическими школами. Однако высокая оценка болонского наречия побуждает его в этом случае не ограничиться уже неоднократно повторявшейся ссылкой на практику лучших поэтов-болонцев¹²³, но предварить такую ссылку специальным пояснением: «если ставящие их (болонцев) выше по народной речи (*in vulgare sermone*) имеют в виду при таком сравнении только городские говоры Италии (*sola municipalia Latinoꝝ vulgaria*), мы охотно с ними соглашаемся; если же они считают болонскую народную речь предпочтительной безусловно, мы с ними расходимся и не согласны. Ведь она не та, что мы называем придворной и блистательной (*aulicum et illustre*); потому что, если она была бы таковой, ни великий Гвидо Гвиницелли, ни Гвидо Гизильери, ни Фабруццо, ни Онесто, ни другие стихотворцы Болоньи не отклонялись бы от собственного наречия (*a proprio*); а они были блестящими мастерами...» (*doctores illustres* — I.XV.6). Это пояснение очень важно: даже самое лучшее из имеющихся, «эмпирически данных» наречий, чье преимущество перед другими неоспоримо, все же не является тем искомым языком, который на более абстрактном уровне будет определен в следующих главах. Здесь, в конце обзора существующих диалектов, показано, что этот язык вообще не может быть

найден эмпирически, и тем самым подготавливается формулировка метода, которой открывается новая часть трактата. С другой стороны, сочетание этого нового аргумента со ссылкой на поэтическую практику лучших мастеров, ссылку, уже неоднократно встречавшуюся в оценке диалектов, демонстрирует особое значение этой ссылки. Важно подчеркнуть, что говоря о лучших поэтах, пишущих на *vulgare*, Данте, по сути дела, пользуется их произведениями как реальными примерами этого искомого языка: именно в их творчестве существует в действительности, а не в абстракции *vulgare illustre*. Эти примеры, таким образом, предвосхищают вывод, который в следующих главах будет обоснован теоретически.

Реальная ситуация заставляет Данте отказаться в этой роли географическому центру Италии — Риму и Тоскане, но он находит выход из этого в «типологическом» (в современном лингвистическом смысле этого слова) понятии «середины», примиряющей противоположности. Третий вариант — политический центр, т. е. столица, престол, двор, — вводится Данте в связи с оценкой сицилийской поэтической школы: во времена Фридриха II и Манфреда

133 Суждение Данте о болонском диалекте рассматривается в сопоставлении с диалектологическими данными в ряде специальных работ. См. [Trauzzi 1921], [Goidanich 1926], [Toja 1950], [Hellman 1967].

/76/

«все, чего добивались выдающиеся итальянские умы (*excellentes animi Latinorum*), прежде всего появлялось при дворе (*aula*) этих великих венценосцев; а так как царственным престолом (*regale solium*) была Сицилия, то и получалось, что все обнародованное нашими предшественниками на народной речи стало называться сицилийским» (I.XII.4). Все эти формулировки на частных, не достигающих «идеала» примерах подготавливают последующие определения искомого языка.

К этому приводит весь обзор диалектов: показав, что искомый язык (основные определения которого уже были исподволь введены в этот обзор, начиная с первых строк главы XI) не может быть найден среди существующих диалектов, Данте предлагает подойти к этой задаче более рациональным путем. При этом (подтверждая высказанное выше предположение о роли метафоры) первые слова XVI главы содержат последнее упоминание метафоры охоты и поисков зверя в лесу; именно здесь она получает эксплицитное выражение, т. к. в I.XVI.1-2 впервые назван зверь — пантера и охотничьи орудия (*venabula*)¹²⁴. Здесь же эксплицировано и превращение метафоры в философские построения за счет указания на сам метод исследования: проследим ее более рациональным путем, *rationabilius investigemus* (с сохранением метафоричности — от *vestigium* ‘след’) и за счет и чисто философского определения этой «пантеры» — «которую мы чуем всюду (точнее, «которая пахнет повсюду»), но которая нигде не показывается» (*et pes ubi apparentem* —

LXVI.1)125. «Рациональное исследование» в средневековой теории познания связано с определенным видением мира, с христианской идеей узрения Бога через Его следы в мироздании. В сочинении итальянского философа Бонавентуры из Баньореджо (ок. 1217-1274), который был впоследствии причислен к лику святых и к числу пяти величайших учителей церкви, «рациональное

124 В переводе единство этой метафоры существенно ослаблено, т. е. из русского текста непонятно, что в начале и в конце развития метафоры употреблен один и тот же глагол *venor* ‘охотиться’: *venemur loquela* «поищем... речь» (I.XI.1) и *postquam venati... sumus... pes pantheram... adinvenimus* «после охоты в лесных нагорьях и пастбищах Италии и не отыскав пантеры» (I.XVI.1).

125 Комментаторы отмечают, что описание пантеры и исходящего от нее благоуханного дыхания встречается у Аристотеля, Плиния, Исидора и тиражируется средневековыми bestiариями и энциклопедиями. Возможно, не без влияния ложной этимологии Плиния (*panthera* из *πάν θήρ* ‘весь зверь’) [Spitzer 1976, p. 212] ненасытная пантера (пожирающая всех зверей) превратилась в милое и общительное животное, став даже одним из символов Христа в bestiариях. В комментарии к французскому переводу VE как раз отмечено, что пантера «дружит» со всеми животными (кроме дракона) [Pézard 1965, p. 585]. Добавим к этому, что в одном из несомненных источников Данте — «Сокровище» Брунетто — о дыхании пантеры говорится «*si dous et si suief*» (Trésor. I, 193).

/77/

исследование» (*rationabiliter investigane*) означает низшую ступень познания путем наблюдения внешнего мира. Этот способ, — пишет он в своем «Путеводителе души к Богу» (*Itinerarium mentis in Deum*), — «представляет собой взгляд с точки зрения рационального исследования, которое различает нечто, наделенное лишь существованием; нечто, наделенное существованием и жизнью; и нечто, наделенное существованием, жизнью и разумом» [Бонавентура 1993, с. 60-61]. Высший способ познания, согласно Бонавентуре, «представляет собой взгляд с точки зрения созерцания, заключающийся в рассмотрении вещи в самой себе (*res in se ipsis considerans*), и различает в ней вес, число и меру (*pondus, numerum et mensuram*)» (там же, с. 60-61). В соответствии с этой основополагающей доктриной познания дантовскую формулировку *rationabilius* следует понимать как прямое указание на переход к теоретическому осмыслению предмета, к познанию языка как «вещи в себе».

Искомый язык VE определяется, таким образом, как высшая сущность, которая присутствует во всех проявлениях этого языка (в жизни) только в виде следов и ни в одном из существующих наречий не может быть обнаружена в чистом виде¹²⁶.

Рациональным, т. е. дедуктивным поискам сущности этого языка посвящена остальная часть трактата и прежде всего XVI глава. В качестве «охотничьих снарядов» Данте использует аристотелевские категории и его учение о мере. «Во всяком роде вещей должна быть единица (*unum*)», по которой сравнивались бы и взвешивались (*comparentur et ponderentur*) все вещи, относящиеся к этому роду, единица, от которой мы для всего остального полагаем меру

126 Поэтому трудно согласиться с такой трактовкой: «Данте остается верен своему принципу: целое составляют все части (диалекты); из каждой берется лучшее, лучшего больше всего в придворном сицилийском и в стихах некоторых поэтов Болоньи и Флоренции. Принцип этот в основе своей аристотелевский, однако применение его к лингвистике является изобретением автора «О народном красноречии»» [Голенищев-Кутузов 1968, с. 574]. У Данте искомый язык не извлекается из эмпирической действительности, а конструируется как теоретическая схема, задающая масштаб для соотношения с ней самой этой действительности, что и дало основание некоторым исследователям увидеть здесь аналогию с «идеальным типом» Вебера (см. прим. 112). Другое дело, что, в отличие от немецкого философа, у Данте его «конструкт» служит не только средством познания, но и целью создания, образом, к которому следует стремиться. В этой связи уместно будет вспомнить замечание Гете: «Теория и опыт (феномены) противостоят друг другу в постоянном конфликте. Всякое соединение в рефлексии является иллюзией, соединить их может только деятельность» [Гете 1964, с. 383], ср. также: «Все эмпирики стремятся к идее и не могут открыть ее в многообразии/Фее теоретики ищут ее в многообразии и не могут найти ее в нем. Однако обе стороны сходятся в жизни, в деле, в искусстве. Об этом так много говорилось, но мало кто умеет это использовать» (там же, с. 367).

/78/

(*a quo... mensuram accipiamus — LXVI.2*). Так, среди чисел (*in numero*) все измеряется по единице (*uno*) «и называется большим или меньшим в зависимости от того, насколько отстоит (*distant*) от единицы» или близко к ней. Еще более показателен второй пример (хотя оба они встречаются у Аристотеля)¹²⁷ : среди цветов (*in coloribus*) все цвета измеряются по белому и называются более или менее видимыми (*visibiles magis et minus*) в зависимости от того, приближаются они к белому или удаляются от него. При внешней параллельности первому примеру здесь скрыта и мысль о «мере» как инварианте, поскольку в «Комедии» Данте говорит о радуге как разложении света, луча (Чист. XXV. 91-93). Кроме того, важно само обращение к понятию цвета. Проблемы «оптики», теории света, Данте подробно рассматривает в III книге «Пира»¹²⁸, и с положениями этой теории тесно связано само определение *vulgare illustre*.

Сделав заключение, что все принадлежащее к роду (в том числе субстанции и предикаты) измеряется тем, что является простейшим (*simplicissimum*) в данном роде (*in ipso genere — I.XVI.2*), Данте распространяет его на поступок, или действие (*actio*) в человеческой сфере.

Следующее предложение как бы повторяет названный вывод, но с важной заменой. «Простейшая единица» здесь заменяется «знаком» (*signum*). Этот переход к «семиотическому» критерию, естественному в сфере человеческой деятельности, совершенно утрачен в русском переводе¹²⁹, поэтому приведем здесь оригинал: «*Quapropter in actionibus nostris, quantumcunque dividantur in species, hoc signum inveniri oportet quo et ipse mensurentur.*» (В силу этого и в наших поступках [или видах деятельности], на сколько бы видов они не делились, нужно отыскивать тот знак, каковым и сами они измерялись бы) (I.XVI.3). Ни в

127 Arist.Met. X.II. 1053 в. Прямой ссылкой на X книгу «Первой философии» сопровождается аналогичное рассуждение Данте в «Монархии» III.XII.1.

128 Ср. также: «Белизна — цвет, исполненный телесного света более, чем всякий другой» (Пир. IV.XXII.17), т. е. упомянутое выше сравнение из «Комедии» — разложение солнечного луча — можно понять и как разложение белого цвета. Тогда примеры «*in numero*» и «*in coloribus*» оказываются неравноправными: единица содержится во всех целых числах, а белый цвет, видимо, по мысли Данте, содержится во всех цветах, но одновременно и содержит их в себе.

129 Этому не приходится удивляться, т. к. даже автор статьи, посвященной анализу этого концепта [Pagliaro 1956], не уловил перехода от «единицы» к «знаку» и отождествляет дантовскую «меру» языка — *simplicissimum signum* с аристотелевским *unum simplicissimum*, в то время как «единицы» измерения у Данте идут по возрастающей — от меры счета до меры всех вещей, которая названа «простейшей из субстанций» — «*simplicissima substantiarum, que Deus est*» (I.XVI.5).

/79/

кчем случае нельзя понимать «*signum*» просто как «признак», то же самое относится и к «простейшим знакам (*simplicissima signa*) нравов, и обычаев, и речи» (I.XVI.3). *Signum* — это, конечно, «знак» — понятие, весьма разработанное в схоластике и определяемое самим Данте в уже цитированной начальной части трактата (I.III.2-3): «Вот этот-то знак и есть тот благородный предмет (*subiectum nobile*), о котором у нас и идет речь», т. е. о котором и написан трактат. На это указывают не только соображения контекста, но и методологическое замечание Данте: «мерой» чисел служит число, мерой цветов — цвет, следовательно, и мерой языков служит язык, а знак и есть язык (как следует из I.III.3).

В поступках имеются три вида или уровня, с соответствующей «мерой» оценки для каждого: «поскольку мы поступаем просто как люди», мы имеем (в качестве меры, оценки) добродетель (*virtutem habemus*), поскольку мы поступаем как граждане (*homines cives*), у нас имеется закон (*habemus legem*), по которому определяют хорошего и дурного

гражданина, поскольку мы поступаем как италийцы (*homines latini*), у нас имеются простейшие знаки (*simplicissima signa*) и обычаев, и нравов, и речи (*et morum et habitum et locutionis*), по которым измеряются и оцениваются (*ponderantur et mesurantur*) поступки италийцев (*latine actiones* — I.XVI.3).

Проблема оценки речи вводится в общий этический, а с другой стороны — семиотический контекст оценки видов человеческой деятельности. И следующий аргумент соединяет политические ценности, отстаиваемые Данте, с тем философским значением благородства, которое мы видели в «Пире» и в определении «знака» в VE I.III.2. А из них (т. е. из всех видов действий) наиболее благородные — это поступки италийцев, которые не принадлежат никакому отдельному городу Италии, но являются для всех общими (LXVI.4). И далее он прямо переходит к определению «инварианта» италийской речи, соединяя сугубо дедуктивное построение (подчеркнутое глаголом *discerno* «различать», однокоренным с *discretio*, итал. *discrezione* «различение», которое в «Пире» обозначает способность к умопостижению, в отличие от восприятия эмпирического и чувственного) с последним отголоском уже завершившейся охотничьей метафоры: «... вот тут и можно теперь различить (*discerni*) ту народную речь (*vulgare*), за какой мы начали охотиться и которая ощутима (*redolet*) в любом городе и ни в одном из них не залегает» (I.XVI.4)130. Важно подчеркнуть, что

130 Замечательно, что дальше Данте делает большую оговорку чисто философского характера, чтобы снять противоречие между абстрактным характером рассуждения и эмпирическим неравенством диалектов: она (т. е. народная речь) может быть, однако, «ощутимее в одном больше, чем в другом, подобно наипростейшей субстанции — Богу, ощутимой в человеке более, чем в животном, в животном более, чем в растении» и т. д., «и простейшее количество — единица более ощутима в числе нечетном, чем в четном; и простейший цвет — белый более ощутим в светло-желтом, чем в зеленом» (I.XVI.5).

/80/

все это приведенное рассуждение представляет собой не только описание метода, которым «искомая речь» должна быть найдена, но и прямое его «применение», т. е. посредством этого построения речь уже найдена: «Итак, найдя то, что мы отыскивали, мы утверждаем, что в Италии есть блистательная, осевая, придворная и правильная народная речь (*illustre, cardinale, aulicum et curiale*), составляющая собственность каждого и ни одного в отдельности италийского города, по которой все городские речи италийцев (*municipalia vulgaria omnia Latinorum*) измеряются, оцениваются и равняются» (I.XVI.6).

Доказав «инвариантный» характер речи («собственность каждого и ни одного в отдельности» города — что, как следует из предыдущего рассуждения, дает ей право считаться «благороднейшей» — *nobilissimum*), Данте в то же время считает нужным еще раз доказать ее «италийский» характер, как бы заново пройдя путь восхождения от

эмпирических диалектов к «конструкту». «И эта народная речь ... есть, мы утверждаем, та самая, которая зовется народной италийской речью (*vulgare latium*). Ибо подобно тому как найдется некая народная речь, присущая Кремоне, так найдется и некая, присущая Ломбардии; и как найдется речь, присущая Ломбардии, так и найдется и такая, которая присуща всей левой Италии; и как найдутся все эти народные речи, так найдется и та, которая принадлежит всей Италии в целом. И подобно тому как одна зовется кремонской, другая — ломбардской, а третья — речью половины Италии (*semilatium*), так и эта, принадлежащая всей Италии, называется народной италийской речью» (*latium vulgare* — I.XIX.1-2). Здесь, опираясь на сделанные выше наблюдения, доказывающие дробность каждого диалекта, Данте проделывает «обратный путь», показывая, что и диалект есть в сущности инвариант, конструкт и, восходя (логически, а не эмпирически!) к конструктам все более абстрактным, мы приходим к общеиталийской речи. И здесь сразу же следует уже знакомая нам ссылка на практику поэтов, но опять-таки с обратным знаком — не для доказательства несовершенства отдельных диалектов, а для обоснования общности языка поэтов из разных мест Италии: «Ведь ею [народной речью] пользуются в Италии блистательные мастера (*doctores illustres*) поэтических творений на народном языке (*qui lingua vulgari poetati sunt*) — сицилийцы, апулийцы, тосканцы, романьольцы, ломбардцы и мужи обеих Марок» (I.XIX.1, перев. I.XIX.2).